П349

П 29
34

ПИОНЕР

10

ИЗД-ВО Ц.К ВКП(б) „ПРАВДА" 1935 г.

К борьбе за рабочее дело будь готов!

ПИОНЕР

№ 10

Орган Центрального комитета ВЛКСМ
Адр. ред.: ул. Горького, 8, тел. 5-60-76.

Май 1935

ЧЕЛОВЕК-ПТИЦА

К рисунку на обложке

Г. Гильгендорф

Когда человек прыгает с самолета с парашютом и идет в затяжном прыжке, то при свободном падении его сильно вертит. Он кувыркается через голову, поворачивается боком, на спину и, скользнув, крутится как на каруселях в штопоре. От такого вращения кровь приливает к голове, начинает стучать в висках, в глазах скачут белые шарики как в надписях журнала Союзкино. Если взглянуть в это время вокруг, то земля и небо вертятся как граммофонная пластинка с широкими серыми бороздами. Раскрывающийся при таком падении парашют так сильно дергает и встряхивает тело, что из глаз сыплются искры. Значит, надо избегать штопора, предохранить себя от него, и парашютисты ищут выхода, делают опыты. Они откидывали в сторону руку и, оказывается, этого было достаточно, чтобы небольшая плоскость руки работала как руль и выводила парашютиста из штопора. Кроме того известно, что белка, прыгая между далеко отстоящими друг от друга деревьями, направляет свой полет пушистым хвостом. Но у человека хвоста нет. Как же быть?

Мастер-парашютист Георгий Александрович Шмидт задумал сделать такой хвост. Он думал надеть на ноги треугольник из крепкой материи, чтобы во время полета этот треугольник служил ему стабилизатором или хвостовым рулем как у самолета. Летчики, товарищи Шмидта, уверяли его, что это пустая затея, что воздух, который ему придется рассекать при падении, не даст возможности развести ноги. Тогда, чтобы бороться с вращением тела в воздухе—штопором,— Шмидт стал делать прыжки, взяв в руку маленький вытяжной парашют. Держать этот парашют было очень трудно: рука уставала, и пальцы сами разжимались; но даже маленький парашютик задерживал падение, правда, незначительно, а главное, давал возможность лететь лицом к земле. В момент открытия большого парашюта после затяжного прыжка не получалось такого сильного толчка, когда в руках был маленький парашютик. Он был воздушным тормозом.

Известный советский конструктор парашютов Павел Иванович Гроховский еще в 1933 г. задумал построить резиновые надувные крылья, на которых можно было бы спуститься без парашюта. Спрыгнув с самолета, парашютист открывал бы баллон со сжатым воздухом, и крылья раздувались бы. Но до сих пор эти крылья еще не построены.

Шмидт вместе со своим товарищем Н. С. Смирновым, старшим техником Экспериментального института, как-то, читая газету «Известия», нашел в ней заметку «Летучая мышь».

Заметка рассказывала о молодом, 22-летнем парашютисте Клэм Соне из города Ленсинг в штате Мичиган, Северной Америки. Клэм Сон много работал над постройкой крыльев, на которых он хотел двигаться в воздухе. Он изучал полет птиц и строение птичьих крыльев. Потом Клэм Сон построил крылья как у летучей мыши из алюминиевых трубок и самолетной материи. Он пришил свои крылья к комбинезону между ногами, руками и туловищем. Подымая руки и разводя ноги, Клэм Сон распускал перепонки крыльев совсем как летучая мышь.

28 февраля на аэродроме Клэм Сон впервые испытал свои крылья. Самолет поднялся на высоту 3500 метров, увозя Клэма с крыльями и обычным парашютом. Выпрыгнув из самолета, Клэм распростер руки и ноги, стал планировать. Двигая руками и ногами, он менял направление своего полета и даже сделал мертвую петлю. На высоте 1800 метров он раскрыл парашют и опустился в 5 километрах от места, над которым оставил самолет. Крылья продержали Клэм Сона в воздухе 75 секунд.

Опыт смелого американца Шмидт и Смирнов горячо обсуждали, а 23 марта они увидели в «Известиях» фотографию крыльев Клэм Сона. Эта маленькая фотография дала толчок всем прежним мыслям советских парашютистов о крыльях. В это же время газеты сообщили о гибели парашютиста Флей Девиз, летевшего на крыльях системы Клэм Сона. Свои крылья Клэм Сон накрепко пришил к комбинезону. Перепонки крыльев позволили американцу поднимать и опускать руки. Поэтому Клэм Сон поместил кольцо для открывания парашюта у колена. Когда надо было открыть парашют, летящий должен был опустить руку вдоль тела и взяться за кольцо. Это устройство оказалось очень плохим: от него погиб Флей Девиз. В полете встречный ветер так натянул перепонки крыльев, что Девиз не мог опустить руку и дотянуться до кольца парашюта. Ветер распластал Девиза в воздухе, и он разбился. Этот недостаток надо было устранить в советских крыльях. Это было серьезное предупреждение. Надо было создать конструкцию более совершенную, чем сделал молодой американец.

(Продолжение на 3-й стр. обложки).

П 29
34

Соболя

Рассказ Р. Фраермана

Рисунки Б. Синявского

Эту историю рассказал нам партизан Никифор Селивончик, присланный в двадцатом году в Якутск, в нашу пулеметную команду. Было ему лет под сорок, носил он бороду и как все сахалинцы умел хорошо рассказывать. Мы любили его слушать.

Селивончик начал свой рассказ так:

— Зима у нас на Сахалине глубокая, без краю; ждешь, ждешь, думаешь: «Господи, и когда ж она пройдет, проклятая!» Правда, морозы не такие, как здесь, в Якутске, хотя люди живут одинаковые: тут — якуты, там — тунгусы; друг на друга похожи. Не знаю уж, как якуты, а тунгусы, хорошо знаю, — правильный народ. Но пока узнал, вдоволь натерпелся и страху и жалости. Теперь я, конечно, понимаю, какой должен быть большевик. А тогда, что я понимал? Борюсь с врагом, и конец. До чего сердцем дойдешь, то и поймешь. А в голове темно. Одним словом,—сахалинец.

Однажды—было это летом—пришел наш партизанский отряд в тунгусское стойбище. Кругом тайга и море Охотское, море мелкое: одолевают его тут пески.

Встретил нас староста тунгусский Макарий и угостил кашей с куликами. Хорошая была каша! Сидим мы у палатки, разговариваем, доедаем кашу. Тунгусы пришли. Наш командир Холкин спрашивает:

— Ну что, товарищи тунгусы, про революцию слыхали, про красных знаете?

— Слыхали,—отвечает за всех Макарий.—Тайга—не могила. На Амуре идет большая война с японцами, а за что уже, однако, не знаем.

Стали мы им тут об'яснять, за что воюем. Понять-то поняли, но не совсем. Топчется Макарий, чешет затылок.

— Мы, — говорит, — тунгусы, однако, тоже красные. Одного не поймем: как с людьми воевать?

Вот и поговори с такими. Посмотрел я на них и думаю: «Люди ли это?.. Войны не понимают...»

Но командир только усмехнулся и опять начал толковать им про советскую власть. Под конец поняли. Говорят, купец Кондратьев обижает—вот бы кого убить. Потом стали жаловаться старики: муки давно уж в глаза не видали. На белку охотятся с десятью дробинками. Так метит, шельма, чтобы дробинка и в белку попала и засела в дереве. Лезет потом охотник на пихту, выковыряет ножом дробинку и опять ее—в дробовик.

Выбрали мы на сходе сельсовет, а купца Кондратьева арестовали и сделали у него на складе обыск. Хитер купец. Вертится перед нами в своих коневых ичигах, разводит руками:

— Моего,—говорит,—тут мало. Остальное сами тунгусы попрятали ко мне в склад.

Нахмурился товарищ Холкин и говорит:

— Ну что ж, тунгусам ихнее и отдадим.

Купец испугался: попал, видно, бес в перевес.

— Зачем возвращать тунгусам: разве это народ? И так кругом должны мне. Эх, да что тут говорить, товарищи! Мое это все, своим горбом заработано. Берите все, товарищи, не жалейте: так мне и надо: не будь буржуем. Позовите мне только тунгуса Николая. Пусть принесет из тайги мою шкатулку.

Принес тунгус Николай шкатулку. Открыли мы ее тут же, при купце. Богатства там были небольшие: колечки, сережки с камешками—все пустяки; золота шлихового немного, золото—охотское, слабое, тоже пустяк. Но были там—век не забуду—три соболя. Взял я их, разворачиваю.

— Я,—кричит купец,—я, товарищи, разверну. От солнца хоронись, дурень, испортишь.

Были те соболя от солнца завернуты в черное сукно. «Криком, думаю, не испугаешь: тоже не год, не два ходил в охотниках». Повернулся спиной к свету и развернул. Соболя знаменитейшие! Дунул я в шерсть, нет ли земли[1]. Нет, вся как пропасть черная. Смеется купец, тянется к соболям:

— Дай, милый, я подержу.

Дал я ему подержать.

— А ну,—говорит,—товарищ, закрой глаза, вытяни руку.

Закрыл я глаза и подставил руку.

— Есть у тебя что-нибудь на руке?—спрашивает.

Ничего нет, только будто теплей стало. Открыл я глаза. А соболя на ладони лежат. Никакого весу, словно свет небесный. Ну и соболя! Тунгусы кругом стоят и тоже хвалят.

Но тут собрал все товарищ Холкин, составил опись, как полагается, и говорит:

— Какие там ни расхорошие, а все пойдет в народную казну.

На другой день созвали мы сельсовет и подсчитали припасы—муки мало. И решили послать меня за мукой вверх по реке, на прииски. А в провожатые выбрали тунгусов Степана и Николая. Дал мне Холкин мешок золота и трех соболей.

---

[1] Землей охотники называют соболиную шкуру, шерсть которой не сплошь черная, а немного сероватая у корня. По этому признаку определяется качество соболя.

— Береги,—говорит,—этим заплатишь за муку. Много дадут. Муку сплавишь на лодках. Да смотри, не попадись японцам или белым. Узнай, где штаб наш и где фронт. Два месяца пропадаем в тайге, а сколько еще пропадать, неизвестно. Плыви, не медли. Да чтоб через десять дней была мука.

И поплыли мы на душегубке вверх по реке. У моря река—как река: хоть на веслах плыви, хоть под парусом. А выше взяла ее тайга в обхват: то в рукав сожмет, то на камнях раскинет. Идем все время на шестах. Скучно мне: кругом пустыня, небо да река, тайга, да камни, да мы. Я люблю поговорить, а с тунгусами о чем поговоришь? Они песни поют по-своему, а говорят мало.

Спросишь: — О чем, Николай, поешь?

А он: — Гы, гы! — смеется.

Иной раз подумаешь: «А что у них на уме? Вот так «гы, гы», да и прикончат ночью на привале». Прижмешь винтовку к коленям, нащупаешь браунинг, крикнешь:

— Толкай шибче, чортова кукла!

И только камни откликаются. Тайга поет. Ветер листья кидает в реку, да шипят на протоках лебеди. Третьи сутки плывем. Взяло меня раздумье: «А ну как не доедем в пять дней: заберешься в трущобы и не выберешься». Спрашиваю у Николая:

— Скажи, друг, есть ли до приисков здесь хоть одно жилье? Верно ли мы путь держим? Смотри, как бы не заплутаться, застрелю!»

Показал я ему на браунинг, вынул из кобуры и послал в тайгу две пули.

— Хорошо, капитан, стреляешь,—говорит Николай, — только зря зверя и человека пугаешь.

— Ах, ты шельма,— говорю,— да тут кругом человеком-то и не пахнет.

— Человек недалеко.

— Где?

— Смотри: дым!

Встал я в лодке, гляжу. Нето стоит дым, нето мреет над тайгою прель. Часа через три свернули мы в протоку и стали. Вошли в тайгу. На реке хоть солнце видать, хоть ветер, а тут темно, трава не растет. Пустил я вперед тунгусов, а сам иду следом. Вышли мы на полянку. Под пихтой стоит олень. Ремень у него на шее, а на конце ремня привязана колодка. Вижу я это и думаю: «В самом деле, недалеко человек», — и пощупал на груди соболей. Потом подозвал тунгусов и говорю им:

— Вперед меня ни с кем не говорить. Я спрашиваю, я и отвечаю. Поняли?!

Крутит Николай головой.

— Понимаем. Чего боишься, капитан? Придем к тунгусам. Тунгус худо не сделает.

Прошли мы еще тайгой с полверсты и опять на полянку вышли, как раз к палатке. У палатки горит костер. У костра баба-тунгуска печет мясо, а около нее мальчонка вертится, голый как червяк. Вылез из палатки народ: мужиков двое, бабы, девки. Ребятишки возле нас копошатся, а мужики стоят поодаль.

— Капсе, дагор,—говорю им.

— Здорово, — отвечают, — заходи, гостем будешь. По-русски говорят не хуже нас.

Принес тунгус Николай шкатулку. Открыли мы ее...

— Что ж, зайти можно, затем и пришел.

Пропустил я в палатку Степана и Николая и сам влез за ними. Сели мы на камаланы, закурили. Жаден тунгус на табак: за раскурку в огонь полезет. И, видно, давно не курили. Набивают трубки, руки трясутся. Раскурили мужики, передали трубки бабам, те ребятишкам, и пошло курево в круговую.

Вечереть стало. Принесла баба печеного мяса, молока оленьего, орехов, поставила все на китайский столик и угощает. Я дал ей свечку из своего мешка. Она зажгла — понимает, что за штука. В палатку вошел старик. Все встали, и я встал.

— Здорово, капитан!

— Здорово, старый!

— Дай табаку.

— Изволь, дагор, покурим.

Уступили старику место у столика; вижу, оказывают почет. Наклонился я к Николаю, спрашиваю тихо:—Кто это, голова что ли?

— Шш... шаман...

Давно я слыхал про этих шаманов, а видеть не приходилось. Любопытно мне. Чудной старик! Глаза черные, а светятся синим, и до того это неприятно, что отодвинулся я от старика словно от безумного.

— Шаман ты? — спрашиваю.

— Нет, не шаман я,—отвечает старик, — однако знаю, как зверь живет, где — добрая, где — злая трава, что человек думает и что ему нужно.

— Ой ли? А меня знаешь? Откуда я и куда иду?

— Сказать нетрудно. Плывешь ты с моря на прииски, а думаешь... Плохо думаешь.

Досада меня берет. Чего я тут с ним разболтался: спать бы надо. А старик не сводит с меня глаз.

— Почему так говоришь? — спрашиваю.

— Что я говорю? Ничего! Тут одна дорога — по реке. В сапогах по тайге не ходят (верно, были на мне сапоги). А что плохо думаешь, и так видно. Думал бы хорошо, сам бы сказал, откуда, куда и зачем плывешь.

— Ишь ты, умен. Ну, еще покурим, дальше рассказывай. Скажешь правду, я тебе насыплю полную каптаргу [1] табаку. Соврешь, ты мне мяса дашь на дорогу.

---

[1] Кисет по-тунгусски.

Говорю я это, посмеиваюсь, будто не принимаю всерьез шаманские речи, а у самого голос не свой.

— Не шаман я, и что будет, не знаю. Но едешь ты, однако, на прииска за мукой, и ждут тебя у стойбища сорок товарищей и большой капитан.

Старик скосил глаза на свечку, подобрал плечи, склонил голову на бок, и почудилось мне вдруг, будто не шаман, а Холкин сидит: был тот, действительно, косоват.

— Правильно, — думаю, — колдун, гадаешь. Даже сколько нас, товарищей, и то известно. А не надо бы тебе этого знать!

Дал я ему полную горсть табаку, набил сам его трубку и спрашиваю для проверки:

— Сколько же я муки раздобуду, и будет ли мне удача?

Шаман отвернулся, курит, весь дымом обволокся, только глаза видны.

— Нехитрый ты человек,—говорит.—Мысли как золото и соболиный мех солнца боятся. Каждый их прячет. А ты снаружи держишь. Поплывешь ты по реке, переломится веточка и будешь думать, а о чем, сам узнаешь.

Сказал это шаман, вышел из палатки и пропал в тайге. Я за грудь схватился.

«Неужели,—думаю,—старый узнал про моих соболей?»

Поглядел я на Николая, а тот перемигивается с девкой. Легли мы на дворе, у костра, каждый на своей оленьей шкуре. Хорошая это постель: сырости не пропускает, не ползет на нее змея, а все же не спится мне. Едва задремал. Под утро проснулся, открыл глаза, проверяю: тут ли мои тунгусы. Степан спит, а Николая нет. «Где он,—думаю,—не мешало бы знать: не колдует ли с шаманом?» И опять заснул.

Было уже светло, когда мы выехали. Туман над рекой прорвало, поднялось солнце, желтое как луковица. Будет жаркий день. Выменял я у тунгусов на табак сохатины, орехов кедровых, и поплыли мы весело. В полдень приказал я сделать привал. Только стали причаливать, глядим: сверху лодка плывет, а в ней тунгус. Кричим ему: — Приставай к берегу! А он плывет. Оттолкнулись мы и пошли наперерез. Взял я его на прицел из винтовки и говорю Николаю:

— Кричи по-тунгусски, пусть к берегу пристает, не повернет — стрелять буду.

Тунгус повернул. Вышли мы вместе на берег.

— Как зовут?—спрашиваю у тунгуса.—Откуда и куда плывешь?

— Зовут Силька, а плыву с приисков к морю.

— Что слыхать на приисках? Кто там: белые, красные?

— Не знаю, какой белый, какой красный.

Либо не понимает либо притворяется. А мне-то известно, что на приисках—наши.

— Зачем едешь, что везешь?

— Везу письмо купцу Кондратьеву.

— Дай письмо!

Отдал он мне его, разорвал я пакет и читаю:

«Произошел переворот. Штаб захвачен и расстрелян. Мак Магон стоит в двадцати верстах. Зовут к аппарату. Спешу. Березов».

Вот тебе и на! Перечел я записку еще раз и не пойму: какой такой переворот? Наших, выходит, постреляли? Но как это случилось? Японец так далеко не заберется. Значит, белые.

Опять я у тунгуса допытываюсь, а он не понимает. Взял я его за грудь, тряхнул, но ничего не добился. Степан и Николай отбежали, смотрят на тунгуса и охают. Чувствую я, неладно дело, расстроился, но тунгусам виду не показываю. «Нужно,—думаю,—самому решить». Отошел я в тайгу подальше, сам с собой разговариваю:

— Что делать? На прииски ехать или назад возвращаться? Переворот! Знаем мы эту штуку! Сами делали! Смерть! С мукой не скроешься, поймают. И кто такой Мак Магон? Пароход ли белый, генерал ли, уж очень имя интересное? Назад вернуться, что скажет командир? Муки нет, отряд без припасов. Что же делать?

Сел я на сплавную пихту, закурил. За мыслями далеко ушел. Даже не слыхать реки. Только шебуршит, возится под валежником бурундук.

«Пока один,—думаю,—дай покрепче перевяжу соболей и золото».

Расстегнул я рубаху и вынул первым делом узелок с соболями. Пощупал его и затрясся. Узел развязан, а соболей нет. Я за пазуху, кругом шарю—нет. Одно золото на месте. Завертелся я как на перекате камень, застучал зубами. Вспомнился мне шаман, как он про соболей говорил и как перемигивался с девкой Николай.

Кинулся я к реке. Отбежал немного и попал в болотце. Не встречал я этой мари, как шел сюда, остановился. Как бы не заплутаться! Голос подал, слушаю. Молчит тайга. Вынул я браунинг, выстрелил и опять слушаю. Нет ответа. Кто в тайге не бывал, тот не знает, что не любит она страха в сердце, суматохи, чужих не уважает. А свой ей только тунгус, бродяга и зверь. Стою я и думаю: «Река должна быть недалеко. Нужно только найти след».

Вернулся я к пихте, на которой сидел, стал искать след. Пойду в один конец—нет, пойду в другой—нет. Страшно мне стало. Даже про соболей забыл. Сел я опять на пихту и думаю: «Если не обходил ее,—мое счастье, значит, куда смотрю, там и река, а обошел, значит, пропадать мне в тайге без топора и ружья».

Встал я, пошел, землю разглядываю. Пройду немного, выстрелю, авось тунгусы отзовутся; опять иду,

Идем все время на шестах.

Я присел на эту шкуру и задумался.

чуть не ползу по траве. Нашел, наконец, свой след. Лег я на него, целовал и плакал.

Уже солнце за кедры спряталось, когда я вышел к реке. Тунгусов не видать. Одна лодка стоит у берега. Подумал я, что Николай со Степаном пошли меня искать, а проезжий тунгус один уплыл. Кинулся я к лодке. Винтовка моя цела, а припасы разворочены. Нет и постельных шкур Николая и Степана.

«Что же это, удрали, меня бросили, соболей захватили!»

Сейчас стыдно рассказывать, а тогда стал я на колени и говорю: — Вывози, боже мой, из беды, а настигну злодеев, убью!

И решил я вернуться к морю. Ночь переждал у костра, глаз не сомкнул. Вышел из-за лесу месяц, поднялся в небе и стоит над рекой как орел-рыболов. А река светится, падает на перекате. Пихты тихонько звенят. Ночь как свеча горит. И все кажется мне, будто на земле нет ничего: ни городов, ни Сахалина, один я и тайга.

На рассвете сел я в душегубку и поплыл. Быстро меня сносило. Но чем дальше плыву, тем больше одолевает меня забота. «Что же это я про соболей скажу? Где их сыщешь? Ведь не поверят. Холкин—человек серьезный. Прикарманил, — скажет, — и к стенке. Хоть бы прикарманил, а то ведь у тунгусов за пазухой». Уверенность у меня такая была, что украл соболей Николай.

В полдень, только обогнул я речное колено, смотрю: впереди идет по берегу тунгус. Гудит река, тунгус меня не слышит. Под'ехал я ближе, узнал Николая. Нацелился в него из винтовки и крикнул:

— Стой, Николай, стрелять буду!

Он обернулся, увидел меня и бросился в тайгу. Я выстрелил. Даже не целился: какая с душегубки стрельба! Да вот, поди же, попал. Причалил я к берегу, а Николай лежит. Страшно мне стало. «Убил, — думаю,—человека». Но нет, вижу: зашевелился. Обрадовался я.

— Жив ты, Николай?!

Он глаза открыл, на руку показывает: по ней кровь бежит. Разорвал я на нем рубаху, осмотрел руку: пуля попала в мякоть — рана легкая, а Николай весь дрожит.

— Ничего, браток,—говорю,—потерпи немного. У меня бинт есть. Видишь, случай какой несчастный.— А о соболях молчу уж, будь они прокляты! Такой уж народ — эти тунгусы. Иной сто километров пройдет по тайге — не присядет ни разу, а чуть поранится ножом или пулей, падает без памяти на землю. Так вот и Николай. Только успел я обмыть и перевязать рану, а он опять лежит без сознанья. Что с ним поделаешь?

Хожу я вокруг него и сам убиваюсь. Жалко мне. Беден был человек: на ногах рваные олочи, кожаная рубаха в заплатах, а рядом валяется шкура. Спал он на ней. Она ему и постель и дом—словом, все имущество. Присел я на эту шкуру и задумался. Жду, когда он опять придет в себя. Вскоре он очнулся, начал жаловаться.

— За что ж ты стрелял в меня?—спрашивает. — Плохо ты сделал.

— Сам вижу, что плохо,—говорю я.—А вы-то лучше сделали? Украли соболей, а меня бросили посреди тайги. Где я теперь возьму муки для отряда, чем накормлю людей?

Николай смотрит мне в глаза, удивляется и опять вздыхает:

— Не надо так говорить. Тунгус не возьмет твоих соболей, и мы тебя не бросили. Мы ждали тебя полсолнца, а потом пошли искать. Мы поплыли на чилькиной лодке вверх по реке, в ту сторону, куда ты пошел. Но тебя не было. Ты далеко ушел. Мы нашли в тайге твой след, ночевали на нем и утром опять пришли к реке. Но ты уже уплыл. Я пошел пешком, а Степана Чилька взял в свою лодку.

Молчу я и думаю: «Вот так история! Выходит, я виноват перед ними. Но соболей все же нет».

— Где же они, соболя?—спрашиваю.

— Не знаю.

— Не шаман ли украл? —

— Шаман—хулой человек, пастухи его не любят. Однако и он не возьмет.

— Почему же вы свои постели забрали из лодки?

— Мы не знали, когда найдем тебя. Никто не уходит в тайгу без оленьей шкуры.

— Почему же ты бросился бежать, когда я тебя окликнул?

— А ты бы спросил меня раньше чем стрелять. Только зверя не спрашивают, почему он бежит. А я, однако, могу сказать, почему бежал: боялся тебя.

И, однако, еще скажу тебе: плыви под правым берегом, а под левым—утонешь.

— Ты что же, думаешь, я тебя тут одного брошу?

— Не знаю. Однако, думаю, бросишь!

— Эх, говорю,—обидел я тебя крепко, а ты меня еще крепче. Нет, друг, не такой партизан человек.

Поднял я его, отнес в лодку, положил, прикрыл шкурой, и снова поплыли в душегубке вниз. Плыву под правым берегом, а на берегу все мари, болота да чурасы. Под левым веселей: там пихты голубые стоят, блестят на берегу камни. «Соврали тунгусы,—думаю,—плыть бы мне под левым берегом».

А река в трубу уходит, кипит под лодкой вода, а под водой качается мореный лес: затопила его река, ободрала, обожгла. Куда ни глянь—торчат из воды черные макушки. Налетишь на них—и смерть. Ударил я со всей силой веслом, подался ближе к правому берегу и едва проскочил мимо. Вот и не верь после того тунгусам!

На другой день повстречались мне из стойбища тунгусы и рассказали, что на море японцы и что наши отошли вверх, в Большие протоки.

Николай ушел к своим. А к вечеру нашел и я своих.

— Селивончик! Что так рано? Что случилось? — спрашивает командир.

— Вот что случилось, тов. Холкин,—сказал я ему тихо и подал записку.

Он прочел и глаза свои косые прикрыл. Взял меня под руку и повел по тропке.

— Все толком расскажи, Селивончик. Что плохого, что хорошего?

— Хорошего-то чуть-чуть.

Отдал я ему золото и рассказал про Николая, про соболей, про шамана.

— Делай что хочешь, тов. Холкин, а все это правда. Веришь ты мне, партизану?

Задумался командир, не отвечает, ходит взад и вперед по тропе.

— Веришь?—спрашиваю его опять.

— Верю,—отвечает.—И мы не уберегли купца. В то самое утро, как ты уехал, он и удрал в тайгу. Уж пять дней ищут его тунгусы. Пробирается, должно быть, к белым. На приисках, видно, дело серьезное. Хорошо ты сделал, что вернулся, плохо только, что Николая ранил. Ведь ты же его убить мог. За это тебя судить надо.

Вот тебе и соболя! В эту ночь спал я один в зимовье. Постлал себе на нары шкуру, зажег свечку, стал сапоги снимать. Насилу разулся, до того ноги зашлись. Радуюсь: не помню, когда и раздевался. Начал штаны снимать. Гляжу и не верю глазам: в штанине, у самой щиколотки, лежат соболя. Ведь что ты скажешь? Ничего не чувствовал! Ну и соболя!

Держу я их на ладони, любуюсь и думаю: «Горя-то сколько я из-за вас натерпелся, человека чуть не убил... Эх, мои хорошие!»

И как был я босиком, в одних штанах, так и понес соболей к командиру. Взял он их, послушал меня и говорит:

— Все равно судить тебя надо, Селивончик. Храбрый ты партизан, а еще не большевик.

— Суди,—говорю,—сам знаю, что виноват.

Но долго судить меня не пришлось. Собрались вечером на берегу тунгусы, выслали двух стариков к командиру, и сели они с Холкиным у костра. Пришли и партизаны. А я стою, даже не отмахиваюсь от мошкары. И опять эта река проклятая: ветра нет, а она гудит, будто трубит ветер, и горит над ней звезда.

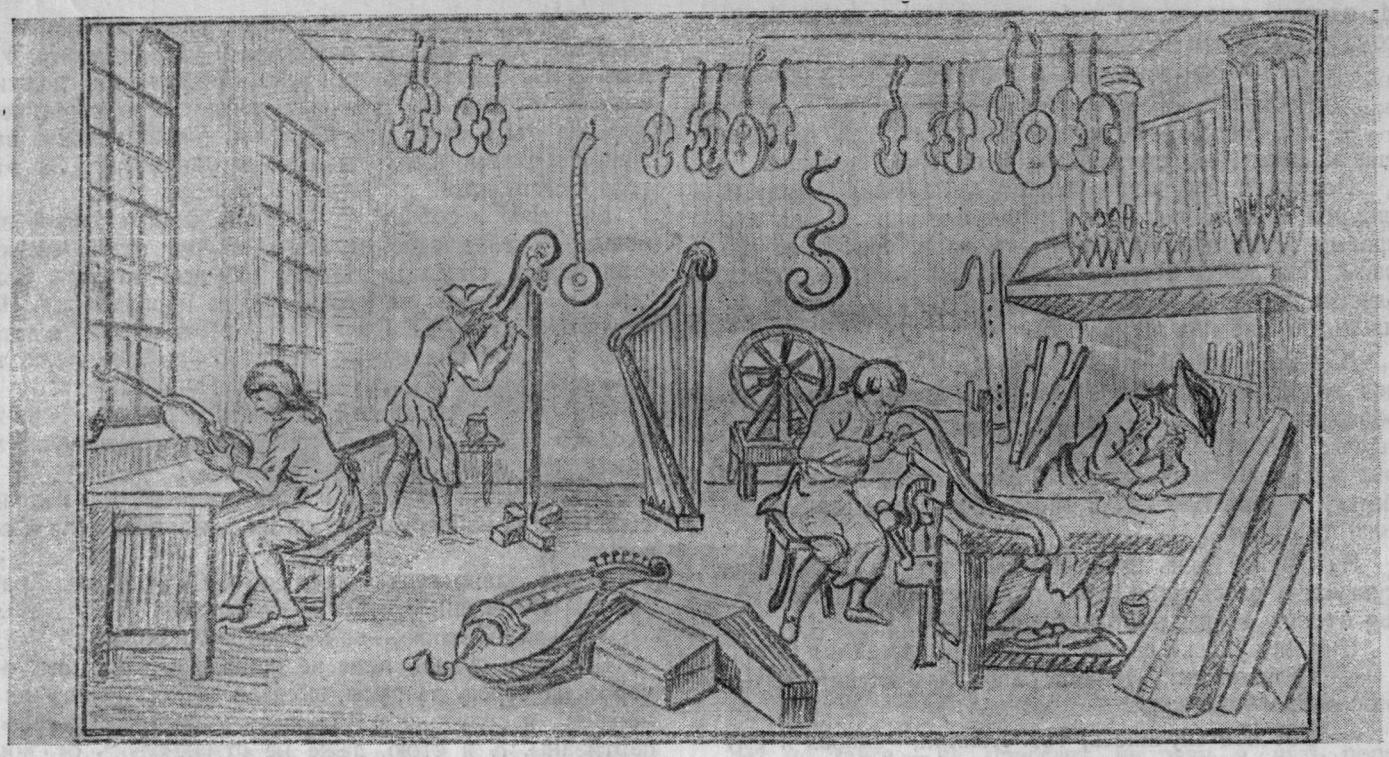
— Хороший был Николай охотник,—сказали старики командиру.—Однако стрелял в него Селивончик не со зла и не из выгоды. Он нам не враг. На олене и то поездить надо, чтобы узнать его повадку. А он нашего обычая и народа не знал. Отдай ему винтовку и пусть воюет с нашими врагами!

На том и порешили товарищи.

А назавтра тунгусы привели из тайги купца и с ним шамана. Вот у кого прятался дружок. То-то хорошо гадал мне шаман!

И судили тунгусы их строго.

И как был я босиком, так и понес соболей к командиру.



Мастерская музыкальных инструментов. По старинному рисунку.

ИСТОРИЯ СКРИПКИ

Заслуженный деятель искусств Е. Ф. Витачек и Б. А. Шатилов

Предки скрипки

«Скрипка — самый совершенный инструмент», «скрипка — царица инструментов», «скрипка поет». Совершенство скрипки восхваляют с давних времен и не попусту. Скрипка действительно — один из самых совершенных инструментов. Она действительно поет, она обладает всеми качествами человеческого голоса: звучностью, мягкостью и даже тембром — окраской звука. Сейчас это точно доказано.

Несколько лет назад изобрели прибор — осциллограф, который записывает кривые тембры различных звуков, и вот с помощью этого прибора установили, что из всех музыкальных инструментов только скрипка дает такую же кривую, как и человеческий голос — сопрано. Следовательно, скрипка действительно поет, и «голос» ее вполне соответствует человеческому голосу.

Но скрипка запела, конечно, не сразу, как появилась на свет: ее предки не имели и тени ее достоинств.

У древних египтян, греков и римлян не было смычковых инструментов. У них были щипковые струнные инструменты: лиры, арфы,—на которых играли не смычком, а просто щипали струны пальцами, почему они и называются «щипковыми». В Европе смычковые инструменты впервые появились около IX века, когда мавры завоевали часть пиренейского государства — нынешнюю Испанию — и принесли с собой с Востока свои ребабы.

Ребаб — один из древнейших предков скрипки. Корпус ребаба делали из кокосового ореха, вместо верхней деки натягивали кожу, к корпусу приделывали длинную шейку и натягивали две—три струны, свитые из конского волоса. Смычком служил лук с тетивой, тоже из конского волоса.

Европейцы изменили и усовершенствовали мавританский ребаб. Кокос и кожу они заменили деревянными деками и соединили эти деки боками—обечайками, как у современной скрипки. Чтоб смычок во время игры не задевал за деку, по бокам прорезали выемки, похожие на букву «С». И такой инструмент уже назывался не ребабом, а крутой, или ротой.

Из мавританского ребаба и европейской круты впоследствии развились более совершенные смычковые инструменты, которые назывались виолами. Виолы были самых различных типов. К сожалению, многие из них не сохранились и известны только по старинным картинам и гравюрам, по описаниям учителей музыки того времени.

Виолы по своей форме и конструкции очень близки к современной скрипке, но звук у них был приглушенный, слащаво нежный и не такой напряженный и сильный, как у скрипки.

И вот в половине XVI века на смену виолам пришла скрипка. Кто первый построил этот инструмент, неизвестно. Известно только, что скрипка впервые появилась около 1550 года в Южной Франции и оттуда перешла в Северную Италию.

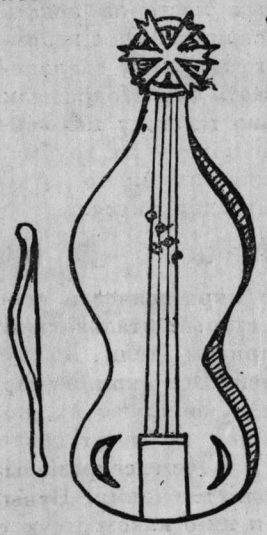
Появилась она среди бедняков. Первыми скрипачами были уличные певцы, бродячие музыканты, нищие и простой народ. На скрипках играли на площадях, в веселых кабачках, на свадьбах крестьян и ремесленников. А в залах и салонах богатых и знат-

ных людей играли на виолах. Но вот итальянские мастера, изготовлявшие для знатных людей виолы, обратили внимание на простонародную скрипку и открыли в ней новые качества, каких не было у виол: силу и яркость звука.

Два гениальных итальянских мастера: Гаспаро-да-Сало в Брешии и Андрей Амати в Кремоне—в очень короткое время эту визгливую спутницу бродячих певцов и нищих превратили в царицу инструментов. Они усовершенствовали ее форму и конструкцию. Скрипка запела серебристо и нежно и по красоте звука не только приблизилась к своему идеалу—человеческому голосу, но даже стала соперничать с ним.

И вот с этого времени простонародные скрипки с площадей и улиц постепенно стали проникать в аристократические салоны и вступили в борьбу с виолами.

Сейчас уже и трудно понять, как это глухие виолы могли бороться, соперничать — да еще почти 200 лет! — с таким совершенным инструментом, как скрипка. Превосходство скрипки так ясно, что, казалось бы, она сразу должна была вытеснить виолу, но это не так. И об'ясняется это вот чем.



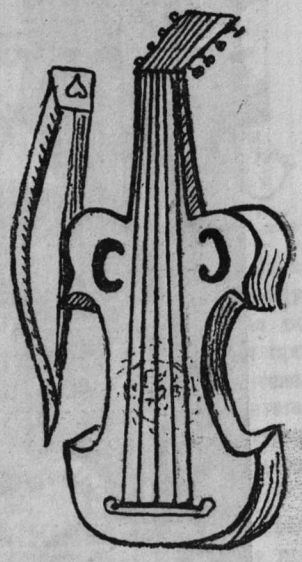
Ро́та XIV века.

В то время публичных концертов, какие мы знаем сейчас: в больших залах, в театрах, в консерваториях и клубах с многочисленной толпой слушателей, не было. Искусство не было достоянием всех граждан, а только избранного круга аристократии, и музыканты в то время занимали совсем не то положение, что сейчас. Музыканты — скрипачи в Италии, Германии, во Франции и Англии — были просто домашней прислугой многочисленных герцогов, королей, князей и кардиналов.

И вот эти скрипачи—часто замечательные музыканты,—в лакейских ливреях, в пудреных париках, игрой на скрипке услаждали своих господ во время обеда или вечерами в небольшом салоне развлекали господских гостей. В небольших залах и глухие виолы звучали достаточно громко, а сильный и яркий звук скрипки сначала казался каким-то слишком уж сильным и резким. Аристократы с непривычки морщили носы и долгое время тихую и нежную виолу предпочитали уличной крикунье, горластой выскочке—скрипке. И только передовые люди, главным образом сами музыканты, с большей благосклонностью и большим радушием встретили скрипку в салонах. Вот почему и первые итальянские мастера, Гаспаро-да-Сало, Маджини и Андрей Амати, делая скрипки, заботились не о силе звука, а только о красоте звука, даже в ущерб его силе.

Но с годами вкусы менялись, концертные залы увеличивались, к скрипкам привыкали, стали понимать их достоинства и виолы все больше и больше стали уступать место скрипкам. Уже внуку Андрея Амати — Николаю, самому прославленному мастеру из всего рода скрипичных мастеров Амати в Кремоне, пришлось увеличить размеры скрипки, чтоб она звучала сильней и напряженней. Но скоро и этой силы оказалось уже мало.

Антонио Страдивариус и Джузеппе Гварнери



Немецкая виола начала XVII века.

В Италии в XVI и в XVII веках мастерские скрипичных мастеров были своего рода школами. Мастер работал, а вместе с тем обучал своему ремеслу своих сыновей, внуков, учеников, передавал им свой многолетний опыт и навыки.

Антонио Страдивариус—величайший скрипичный мастер всех времен — в юности поступил учеником в такую мастерскую-школу к Николаю Амати. Он блестяще усвоил мастерство своего учителя и открыл свою мастерскую. В мастерской работал он сам, его дети и несколько учеников. Этот неутомимый труженик поражал граждан Кремоны своей трудоспособностью. Он вставал рано утром, едва ли не раньше всех кремонцев, и тотчас же принимался за работу. Кремонцы почтительно посматривали на высокого и худого синьора Антонио в белом колпаке и белом кожаном фартуке, склонившегося над верстаком и окруженного учениками. Его уважали. Еще бы, синьор Антонио был знатного рода, знаменит и очень богат! Синьор Антонио делал скрипки по заказу могущественных королей, кардиналов, герцогов и крупных банкиров и за работу брал дорого. Он лучший мастер во всей Италии, да и раньше таких в Италии не было!

Страдивариус прожил 93 года, с 1644 по 1737 год. И благодаря долголетию и необыкновенной трудоспособности ему удалось довести скрипку до предельного совершенства. В своих скрипках Страдивариус об'единил все лучшие качества: серебристость, яркость, гибкость, певучесть, мягкость, мощную и мужественную силу звука и еще то особое качество, которое скрипичные мастера называют «дальнобойностью».

Ребаб.

Есть скрипки, которые звучат приятно и сильно, когда их слушаешь вблизи. Но стоит отойти на несколько шагов — и их почти не слышно. Страдивариус добился того, что скрипка несет звук вдаль, она звучит почти так же сильно в конце больших многолюдных зал, как и возле эстрады, на которой играет музыкант.

Такими же качествами обладают скрипки другого замечательного мастера, Джузеппе Гварнери, про-

Предполагаемый портрет Страдивариуса.

званного дель Джезу. Гварнери был современником Страдивариуса.

У кого он учился, до сих пор неизвестно. О нем сохранилось только несколько недостоверных легенд, будто бы он был беззаботным гулякой, буяном и пьяницей, за что-то сидел в тюрьме, где делал свои замечательные скрипки. Эти легенды уже опровергнуты. Судя по тому, что он не делал ни контрабасов, ни виолончелей—инструментов, которые требуют от мастера физической силы, — предполагают, что он был человеком слабого здоровья, да и умер он рано, всего 46 лет. При жизни он не был знаменит и известен, как Страдивариус. Его инструменты оценили по достоинству только в XIX веке, и сейчас они даже соперничают с инструментами Страдивариуса.

После них скрипичное мастерство приходит в упадок. В 1737 году умер Страдивариус, в 1744 году— Гварнери, и оба они скоро были забыты, и так крепко забыты, что в начале XIX века, когда французский мастер Вильом приехал в Италию и стал расспрашивать о них, даже в Кремоне, где они жили и работали, о них никто ничего не мог рассказать.

Почему же их забыли? Почему после них скрипичное мастерство в Италии пало? Вероятно, потому, что они опередили вкусы своего времени. Их скрипки—с ярким и сильным звуком—все еще казались слишком резкими ушам изнеженных аристократов. К тому же по всей Европе страсть к скрипачам и скрипкам на время утихла и появилась новая страсть—к флейтам. На флейтах заиграли вдруг все, от прусского короля Фридриха Великого до самого захудалого дворянина. На нежных флейтах высвистывала пасторали, менуэты и гавоты вся Европа.

Скрипичные мастера в угоду веку отошли от Страдивариуса и Гварнери. Одни вернулись назад, стали делать скрипки по моделям старых мастеров, другие—как немец Яков Штайнер—изменили конструкцию скрипки, изменили ее тембр: скрипка уже не пела как сопрано, а свистела как флейта. Флейтовый звук так соответствовал вкусу того времени, что скрипки Штайнера и его подражателей затмили славу Амати, Страдивариуса и Гварнери.

В 1789 году во Франции грянула революция. Она свергла с престола и казнила короля Людовика XVI и с аристократами расправилась по-своему. Началось горячее время! Крестьяне изгоняли из поместий помещиков, отбирали земли. Аристократы в панике бежали из Парижа, за пределы Франции. В их опустевшие дворцы в'езжали революционные штабы и комитеты. Победители торжествовали. На площадях, на бульварах стали устраивать революционные народные праздники. Здесь плясали и пели, здесь лучшие скрипачи играли для народа, играли с большим жаром, потому что революция освободила и их: из ливрейных лакеев знатных вельмож она превратила их в народных артистов.

И вот тут-то, когда скрипачам пришлось выступать не в уютных салонах, а на площадях и в больших аудиториях, их нежные скрипки и потерпели крах. Они пищали изящно и сладко, а народ-победитель требовал мощи и силы. Да и самим музыкантам хотелось играть мощно и сильно, чтоб выразить всю радость свободы.

Это-то и заставило скрипичных мастеров искать способов, как бы усилить звук скрипки. Они вспомнили забытого Страдивариуса, его мощные, «дальнобойные» скрипки и стали подражать ему. Подражали без толку: делали скрипки только по виду похожими на скрипки Страдивариуса, и потому их грубые, крикливые скрипки так мало были похожи по звуку на певучие и мощные скрипки Страдивариуса.

Секреты скрипки

С тех пор все скрипачи всего мира всячески старались и стараются приобрести старый итальянский инструмент Страдивариуса, Гварнери дель Джезу или их учеников и последователей. Все скрипичные мастера старательно копировали и копируют их, но их скрипки не могли и до сих пор не могут сравниться с итальянскими. Почему? В чем секрет? И вот скрипка окуталась тайнами и легендами. Ни о фаготе, ни о флейте, ни о рояли и ни о каком другом инструменте еще никто не слышал ни одной легенды, а о скрипке слышали все сотни самых таинственных легенд. Секреты и тайны окружили и скрипачей. Уже много лет скрипачи пытаются разгадать секреты гениального скрипача Николо Паганини, а скрипичные мастера — секреты Страдивариуса и Гварнери.

Если бы ученики Страдивариуса в угоду вкусам своих заказчиков не отошли от своего учителя и не вернулись назад, к старым мастерам, если бы они своих учеников научили строить скрипки так, как строил их Страдивариус, а те в свою очередь научили бы своих учеников и т. д., то опыт Страдивариуса дошел бы и до нас и не было бы никаких разговоров о секретах. Но Страдивариус был забыт. Книги о том, как он строил свои инструменты, он не написал.

Наука до сих пор не смогла построить теорию звучания скрипки, т. е. научно об'яснить, почему скрипки Страдивариуса звучат мягче, мужественнее и «дальнобойнее» чем скрипки других мастеров. До сих пор не знают этого и лучшие современные мастера. Правда, советским мастерам, как показали конкурсы смычковых инструментов в Москве, удалось сейчас раскрыть секреты практически: они делают скрипки такие же звучные, с таким же прекрасным тембром, как скрипки Страдивариуса; они знают, *как* надо делать, но до сих пор еще не знают, *почему* так надо делать. На это-то *почему* и должна ответить наука.

Почта Тут-Итама

Как я ездил заграницу

Письмо Буси Гольдштейна.

Москва

В этом году, 1 марта, в 11 час. 45 мин. вечера, я и скрипач Давид Ойстрах, по постановлению Наркомпроса, выехали в Варшаву на Международный конкурс скрипачей им. Генриха Венявского. С нами ехал директор нашей консерватории Г. Г. Нейгауз. Я был доволен, что меня провожали все мои товарищи, юные музыканты, во главе с их руководителем А. Ф. Лушиным. На вокзал приехали не только ребята, но и родители. В Варшаве несмотря на плохую погоду нас встретили на вокзале представители советского посольства и директор высшей музыкальной школы им. Шопена, Адам Венявский.

На следующий день состоялось торжественное открытие конкурса. Я начал готовиться к первому туру. 10 марта я играл в первом туре при переполненном зале Варшавской филармонии. Аудитория встретила меня бурными аплодисментами. Первый тур прошел для меня очень удачно. Я и мой старший товарищ Давид Ойстрах были единогласно допущены ко второму туру. Условия для занятий у меня и Ойстраха были хорошие. О нас заботилось советское посольство во главе с послом тов. Давтяном. Все расходы по нашей поездке оплачивало советское правительство. Другие участники конкурса: французы, англичане и др.—приезжали за свой счет, жили в плохих условиях, и о них никто не заботился. Особенно жалко было детей—участников конкурса. Мальчик, не получивший денежной премии, плакал: он очень нуждался.

Я получил четвертую премию—2 тыс. злотых (400 руб. золотом). После конкурса я остался на 4 концерта. Всюду меня и Ойстраха встречали очень тепло. Особенно хорошо нас принимали в Лодзи, где большинство наших слушателей были рабочие. Там мы играли 2 раза по требованию публики, и нам преподнесли красные розы, перевязанные красной лентой с надписью: «От лодзинских рабочих советским артистам». После концерта публика проводила нас до самой гостиницы и у входа устроила нам бурную овацию. На втором концерте, когда мы кончили играть, из публики раздавались возгласы: «Да здравствует советская власть!» и «Да здравствует советская музыка!» Появилась полиция, и те, кто кричал, поспешили скрыться. Нас вся публика проводила до автомобиля, и кто-то из толпы в самую машину крикнул: «Просим передать привет пролетариям Москвы от лодзинского пролетариата!» 2 апреля мы выехали из Варшавы.

Моя пионерская работа заключается в том, что я играю для пионеров и школьников.

Мой лучший товарищ по консерватории—скрипач Саня Зарохович. Он умный и развитой мальчик, с ним приятно разговаривать. Лучший товарищ по школе—скрипач Алик Буракинский, с которым люблю побаловаться. Я охотно занимаюсь по всем предметам, но особенно меня интересуют география, история, русский язык и математика.

Скрипичные мастера

Письмо Феди Хромова, Кости Жарова, Коли Сорокина и Кости Алексеева

Москва,

Ваганьковский пер., 9. Дом культуры им. Павлика Морозова.

Когда нам в школе сказали, что при Доме культуры им. Павлика Морозова организуется кружок, чтобы делать скрипки, первым записался Федя Хромов. Он раньше очень любил работать в слесарной мастерской при школе и с большой охотой стал заниматься в новом кружке. Вскоре записалось еще 4 человека. Кружком с самого начала руководит скрипичный мастер Андреев. Мы его зовем попросту дядя Жорж.

Материала у нас тогда не было, мастерская находилась в нижнем этаже, холодно там было и сыро. Мы склеивали скрипки, а они расклеивались от сырости. Потом мы перебрались наверх.

в хорошую комнату. Скоро у нас и материалы появились. Как-то привезли дрова. Мы отобрали лучшие поленья, распилили, положили сохнуть на колокольню. Дрова были сосновые, а для верхней деки нужна елка. Но мы все-таки начали работать.

Сначала мы стали делать завитки. Никто из ребят не мог сразу сделать спираль. Когда научились, стали делать нижнюю деку из двух половинок грушевого дерева. Потом делали бока, а затем — верхнюю деку.

Очень трудно было вначале. Никак не могли научиться прорезать и хорошо врезать ус. Был у нас один мальчик — такой упрямый,— он ни за что не хотел сначала нарисовать эфы, а потом уж вырезать. Много материала он зря испортил. Потом все-таки нарисовал. Тогда получилось. Тут нужно и внимание, и усердие, и акуратность. Скрипку, да еще хорошую, сделать нелегко. Ребята увидели это и перестали ходить в кружок: не хватило у них терпения.

Один Федя остался. Он решил во что бы то ни стало делать настоящие, хорошие скрипки. Работал он очень упорно. Сделал 3 скрипки. И все лучше и лучше.

Видят ребята, что у Феди быстро дело подвигается, и стало им обидно, что ушли из кружка. И вот Костя Жаров пришел и попросил, чтобы его снова записали. Потом еще двое записалось в кружок.

Мы сделали 17 скрипок. Лучше всех звук у фединых скрипок. Он сделал их уже 7 штук.

Однажды дядя Жорж принес кусок елки от старинного клавессина. Этой елке уже 200 лет. Она такая золотистая! Дядя Жорж дал ее, и Федя очень долго работал над этой скрипкой.

Получилась очень хорошая скрипка, потому что верхняя дека у нее сделана не из соснового полена, а из старой елки.

Для нижней деки нам нужен клен. А клен здесь не растет, его пришлось бы привозить из других областей. Вместо него мы взяли грушевое дерево. Черного дерева тоже нет. Поэтому подгрифок и гриф мы красим в черный цвет, под «черное дерево».

Сейчас мы научились лакировать скрипки. Сначала выкрасим в какой-нибудь цвет, а потом покроем лаком. Чтобы поверхность была гладкая, протираем ее пемзой. Потом еще несколько раз покрываем лаком.

Звук у наших скрипок еще не очень хороший. Мы это знаем. Но мы будем серьезно работать и научимся делать скрипки не хуже старых итальянских мастеров.

Скрипичные мастера «Трехгорки» — первые ребята в Советском союзе, которые сами делают скрипки. Это очень интересная, но трудная работа. В этом деле, как, может быть, ни в каком другом, нужна настойчивость. Судя по письму, такая настойчивость есть у Феди Хромова. Если и другие ребята будут так же упорны, кто знает, может быть, из них выйдут советские Страдивариусы, Витачеки.

Полесские робинзоны

Письмо А. Аверьянова.

Москва,

Поселок 1905 года, Б. Звенигородская, д. 10, корпус 4, кв. 3/4.

Мы смотрели картину «Полесский Робинзон». Нам она очень понравилась. Когда мы пришли домой, мы задумали сами играть и распределили роли. Я был Васькой, а мой товарищ—Петькой. Еще нам нужен был медведь, но где его взять? Потом мы придумали: взяли одного мальчика, и он стал играть медведя. Еще мы взяли деда и начали играть.

Мы сели в лодку, лодка была ненастоящая и река ненастоящая. Рекой была просто земля. И вот мы плывем по реке вдвоем, Вася и Петя. Я говорю Пете:

— Давай вон на том берегу отдохнем и позавтракаем.

Пристали к берегу. Вдруг я увидел змею (а змеей у нас была простая веревка), и не знаем мы, какая это змея—ядовитая или нет. Вдруг Петя закричал:

— Это уж!

Мы бросились его ловить, но он так извивался, и мы никак не могли его поймать. Вдруг он от нас побежал к реке и поплыл на другую сторону. И мы побежали к лодке и быстро поехали догонять ужа. Ужа мы поймали, а лодку упустили. Она уплыла от нас, и мы остались одни в воде. Но это ничего: мы умели плавать и выплыли на берег. Хотелось есть. Мы сделали шалаш. Есть хотелось еще больше. А Петька и говорит:

— А ты пояс потуже затяни, все будет в порядке.

Я затянул потуже и оборвал ремень. А Петька смеется надо мной. А я сидел как дурень и говорил:

Триста лет назад в Англии был теат «Глобус». Актером в этом театре был величайший драматург мира Вилльям Шекспир. На сцене этого театра шли его пьесы.

Техника этого театра была почти такая же, как у Алеши Аверьянова: если по пьесе действие происходило в лесу, — выносили шест с надписью «Лес»; если дело происходило в замке, достаточно было написать «Замок». Воображение зрителей дорисовывало все остальное.

Почему у Алеши Аверьянова удалась игра? Потому что у него хорошая фантазия, хорошее воображение. Такое воображение, впрочем, есть у большинства людей, особенно у ребят.

Поэтому ребятам всегда интересно играть, а если такую игру показывать другим ребятам, то им будет интересно смотреть.

— Тебе хорошо: у тебя ремень есть, хотя бы на полчасика дал.

И Петька дал мне ремень.

Скоро надвинулась ночь, мы разожгли костер и легли спать. Но нам не спалось: все хотелось поесть. Вдруг в лесу крик, и мы испугались: кричал маленький ребенок. Я говорю Петьке:

— Вот я сейчас пойду и убью вора, который ребенка украл. Выхожу из шалаша и вижу... сову и зайца. Только я взял свою добычу, как вдруг из лесу выбегает медведь—Мишка. Я со страху—к себе в шалаш, а Мишка тоже испугался и убежал.

И мы с радостью зажарили на костре зайку, покушали как следует и пошли спать. На другой день встали рано и стали делать плот. Мы были на острове. Вдруг начали деревья падать. Мы думали, что приехали лесорубы, и побежали туда. Но там никого не было, а деревья падали. Нам стало страшно, и мы побежали обратно. Но тут опять беда! Прибежали мы в шалаш, а в шалаше... Мишка сидит, как у себя в берлоге. Мы его выгнали. Нам удалось поймать черепаху, и ежа, и ужа. Вдруг Женя Энерг — он был лесником, мы его нарядили как лесника и бороду из ваты привесили, — приехал на лодке к нам на остров, мы сели к нему в лодку и уехали.

Когда мы играли в эту игру, на нас смотрели малыши и смеялись.

„Альбом гениальных людей мира"

Письмо Николая Коржа.

УССР,

г. Чугуев, ул. К. Либкнехта, 24.

Это было 2 года назад.

Я очень любил читать об ученых, о их жизни, работе и с презрением относился к тем вымышленным героям, которые описывались в романах Жюль Верна, Майн Рида, Конан-Дойля.

Гораздо интереснее прочесть биографию какого-нибудь ученого, революционера, который действительно жил, работал и трудился для блага народа.

«Лучше одну вырезку сохранить чем всю газету»,— подумал я и тотчас же принялся вырезывать из газет биографии великих людей.

Вот Ньютон, вот Галилей, а это бесстрашный Феликс Дзержинский. Но куда их деть? Так они потеряются.

Я сшил целую книгу в 250 листов из чистой бумаги и написал заголовок «Альбом гениальных людей мира», на первом и втором листке поместил всех вождей, потом — ученых мирового значения и революционеров.

Вырезал я их из газет «Пионерская правда» и «На змину», из журналов «Огонек», «Вокруг света».

Под каждым портретом я подписывал, когда жил и чем замечателен этот человек.

Несколько месяцев спустя у моего альбома был уже совсем приличный вид. Его смотрели в пионерском отряде, в школе, и многим ребятам он понравился. Через некоторое время такие же альбомы я видел у многих ребят-школьников.

Сейчас у меня в альбоме более 500 портретов. Очень часто альбомом я пользуюсь как наглядным пособием. Вот, например, изучая физику, я брал свой альбом, просматривал портреты ученых-физиков и прочитывал их биографии.

То же и по истории.

Приятно, смотреть на фотографию гения! О Ленине, Сталине у меня собрана целая панорама!

Зря я ничего не заношу в альбом. Он у меня целиком оправдывает звание «Альбома гениальных людей»: революционеров и ученых.

АЛЕШКА

Н. Соколов *Рис. Б. Берендюфа*

Алешка был своего рода знаменитостью в батарее.

Грузный, приземистый, с тяжелой, непомерно большой головой, мохнатыми, короткими ногами, он напоминал гиппопотама. На тупоносой, добродушной морде поблескивали маленькие, живые глазки. Несмотря на свой малый рост Алешка весил сорок пять пудов. Никакой хомут не влезал на его жирную, толстую шею.

Алешка отличался колоссальным аппетитом. Сколько бы ему ни сыпали овса и ни подкидывали сена, все равно было мало.

За едой он забывал все на свете. Сладко чавкая, он старался как можно глубже засунуть морду в овес. И беда тому коню, который отважился бы по-приятельски сунуть морду в алешкину кормушку: Алешка, всегда такой добродушный, в таких случаях зверел: и копытами и зубами он готов был защищать каждое овсяное зернышко, каждый клок сена.

Как-то летом два красноармейца решили испытать алешкино терпение. Положили перед ним огромную охапку свежескошенной травы, забрались к нему на широкую спину как на печку и устроили «концерт». Один залихватски заиграл на гармошке, другой затренькал на балалайке.

Алешка и ухом не повел, уткнулся мордой в траву, зачавкал и, казалось, совсем не замечал, что творилось у него на спине.

Конечно, красноармейцам за это «музыкальное» выступление попало, но и сейчас передо мной стоит как живой сладко чавкающий Алешка с оркестром на спине.

Алешка был чрезвычайно ленив и упрям. Он не признавал рыси: если можно ходить шагом, то незачем бегать. Торопливость была не в его натуре.

Нагайка не действовала на Алешку. При первом же ударе он останавливался, и никакая сила не могла сдвинуть его с места. Его можно было только уговорить или подкупить куском хлеба.

У нас в батарее, при выезде из ворот, на столбе, висели большие часы. Обычно это место было роковым: если Алешка проходил мимо часов, значит он и дальше пойдет, если же он, подняв морду и уставившись в белый круг циферблата, остановится, — пропало дело: Алешку не сдвинуть с места.

Красноармейцы смеялись:

— Наш Алешка всегда по часам смотрит. Глянул: к обеду близко — ни в жизнь не пойдет.

Алешка ходил в корне первого ящика. Ездовой был мучеником: все зависело от настроения Алешки: соблаговолит ли он везти тяжелый зарядный ящик или об'явит забастовку.

В лагере готовились к параду. Накануне выехали на репетицию.

День был солнечный, жаркий. Алешка, хорошо подкормленный, легко тащил ящик по песчаной дороге.

Приехали на поле, выстроились... Подается команда: «К торжественному маршу!»

Орудийные шестерки, вытянувшись точно по ниточке, развернутым строем двинулись вперед. На поле остался лишь один зарядный ящик.

Алешка, увидев, что надо бежать не в конюшню,

а в противоположную сторону, не пожелал сдвинуться с места, и ничего не могли с ним сделать. Пять лошадей с силой натянули постромки и не могли ни на вершок сдвинуть с места застывшего тяжелой, каменной глыбой Алешку.

Напрасно ездовой стегал его нагайкой. Алешка стоял, натнув голову, и хладнокровно отмахивался хвостом от сыпавшихся на него ударов... Лишь через десять, пятнадцать минут его удалось уговорить, и он стронулся с места... Да и то потому, что ящику пришлось свернуть на старую дорогу и возвращаться в лагерь...

На следующий день на парад Алешку, конечно, не взяли. Его «разжаловали» из корней и перепрягли в телефонную двуколку. Двуколки тогда были не парные, а одноконные, и для них требовались сильные, крепкие кони.

В двуколке Алешка проходил все лето. Своим упрямством он просто извел добродушнейшего красноармейца Сидоренко. Пока шли в колонне, Алешка лениво шагал, не замечая тяжело нагруженной, тонущей чуть не по ступицу в песке двуколки... Но вот батарея начинает развертываться — надо переходить в рысь. Раскачать Алешку было очень трудно. Случалось, что, пробежав с полкилометра, он разом останавливался, недовольно качал головой. Сидоренко знал, что кнутом его не возьмешь, соскакивал с двуколки, брал кусок хлеба и начинал «уговаривать»:

— Ну, Алеша, голубчик! Ну, пойдем! Видишь: все уже уехали!

Алешка внимательно слушал, жевал хлеб, и, странно, эти уговоры действовали на него лучше кнута.

Только один раз я видел, как Алешка дико скакал, делая какие-то нелепые прыжки, точно каменная глыба, спущенная с крутого откоса.

Дело было так. Алешка, полудремля, тащил тяжело нагруженную двуколку. Вдруг сорвалось плохо привязанное железное ведро и попало ему под ноги. Алешка на ходу толкнул ведро задними ногами; оно с грохотом перекатилось к передним. Алешка захрапел и прыгнул вперед. Ведро с силой отскочило от передних ног к задним. Алешка испугался и понесся вперед, не разбирая дороги. Ездовой тоже испугался и, не понимая, в чем дело, напрасно натягивал вожжи. Алешка в ужасе несся грузными скачками,

Алешка и ухом не повел

пока ведро, наконец, не вылетело в сторону. Проскакав еще с сотню метров, он остановился, испуганно отфыркиваясь и тяжело поводя вспотевшими боками.

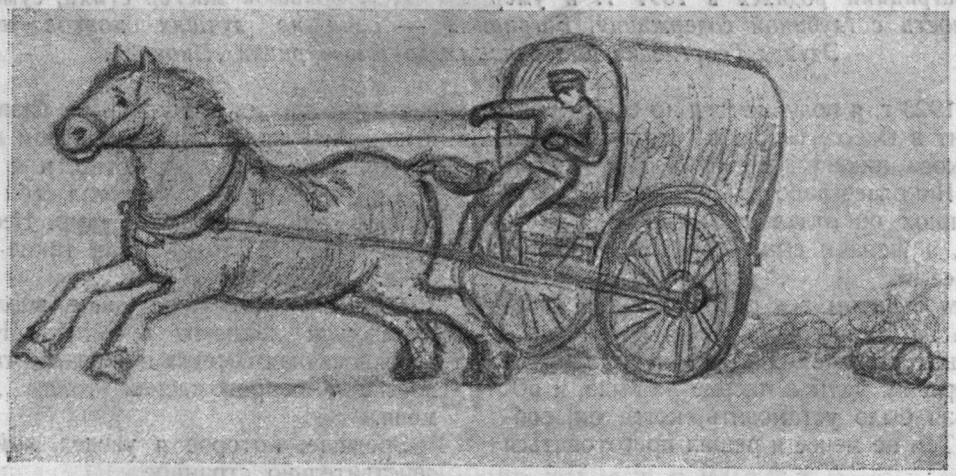
В конце концов Алешке пришлось подыскать другую работу. Ну как можно во время боевой работы заниматься уговорами? Уговаривай и думай: согласится Алешка везти двуколку или нет?

В хозяйственной части потребовался сильный конь для поездок в город за мясом и другими продуктами. Назначили Алешку. Соорудили для него на заказ хомут и стали запрягать в мясной фургон.

Эта работа пришлась ему по вкусу.

Не спеша, ежедневно шагал он по хорошо изученной дороге до города и обратно и легко вез многопудовую кладь.

Наверное и сейчас он здравствует и честно несет свою нехитрую, но нужную работу.



Алешка в ужасе несся грузными скачками.

БАГРИЦКИЙ В НИКОЛАЕВЕ

Я. Бельский *Рис. П. Митурича*

Поэт Эдуард Багрицкий родился в 1897 г. и умер в 1934 г. Большой мастер стиха, сумевший соединить простоту и ясность с глубиной содержания, Багрицкий — один из лучших поэтов нашего времени. Эдуард Георгиевич был близким другом журнала «Пионер».

В начале июля 1923 г. я получил письмо от Эдуарда. Он писал, что сидит в Одессе без дела, что от Вальки и Юрки из Харькова никаких вестей нет и что он хочет приехать в Николаев работать. Джурбаев, голубей и морских свинок он отдал на попечение моему брату Архибальду, а жена и сын, решил он, прокормятся как-нибудь сами.

Обеспечив таким образом все разнообразное население своего дома на Дальницкой улице, Эдуард должен был погрузиться на пароход «Буг» и пришвартоваться к новым берегам. Даты в письме не было, и поэтому никак нельзя было установить, когда он, собственно, приедет. Тем не менее я решил приготовиться к его прибытию.

Я вызвал квартирную хозяйку Анну Карповну Орешникову и просил ее купить на базаре брынзы, молока и нажарить картошки на постном масле: меню Эдуарда мне было точно известно, и я хотел, чтобы он с первой же минуты чувствовал себя как дома.

Было жаркое июльское утро. Несмотря на близость реки каменный Николаев в такие дни накалялся как печь.

Пока я умывался, на улице, возле дома, где я жил, произошли какие-то события... Ко мне прибежала взволнованная соседка и сказала, что два странных человека в сопровождении толпы людей спрашивают меня.

Зрелище, которое я увидел, выйдя из ворот, было действительно странное.

Впереди толпы стоял высокий человек в бурке и тя-

желой манчжурской папахе. Рядом с ним седоусый старик в плаще и панаме, размахивая гитарой с огромным голубым бантом, что-то кому-то об'яснял.

Когда я пытался достойным образом оценить происшествие, человек в бурке подбежал ко мне.

— Здорово, Янкель!—закричал он щелкающим басом.—Эти шляпы приняли меня за Махно и хотят вести в милицию...

— Ты с ума сошел, Эдя! В июле так одеваться!..

— Это для смеха... Что я буду с собой постельные принадлежности брать... Бурка вполне заменяет матрац, одеяло и даже егерское белье... Знакомься—это Гаврила Иванович Шульц, бывший преподаватель арифметики, а теперь ученый зоолог. Он четырех Бремов за пояс заткнет.

Старик с гитарой под плащом изящно расшаркался, подкрутил усы и протянул мне руку.

— Сыграйте что-нибудь веселенькое, Гаврила Иванович,—сказал Эдуард.

Гаврила Иванович быстро откинул полу плаща и, став в позу подгулявшего гранда из Севильи, хотел было начать.

— Подождите,—сказал я,—раньше поднимем висячий мост, чтобы враг прекратил преследование. Осада нам нестрашна: пищей мы обеспечены на сутки.

Я пропустил обоих спутников во двор и закрыл ворота на засов.

— Только имей в виду,—сказал Эдуард,—у старика исключительно легкомысленный репертуар: классика ему неизвестна. Если ему сбрить усы, получится самая настоящая цыганка Маша...

Старик тем временем куда-то исчез, и с его музыкальным талантом мне пришлось познакомиться несколько позже.

— Чудесный двор, — сказал Эдуард, — здесь будет жизнь,—он указал рукой на пустовавшую голубятню.—Где тут в городе птичий базар, ты не знаешь?

Старика Шульца мы нашли в моей комнате. Он мгновенно освоился с новой обстановкой: его плащ, гитара и панама были небрежно брошены на постель. Ставни были почему-то закрыты. Солнечный свет, пробивавшийся через щель, пересек комнату пополам и лег яркой полосой на стол, за которым сидел Гаврила Иванович.

Он громко чавкал и сопел. Когда мои глаза привыкли к полумраку, я увидел, что в тарелках уже ничего не было.

— Хороша брынза, — сказал Гаврила Иванович,— нельзя ли еще полквартры молочка. У нас в Одессе такого не бывает-с.

Он лукаво, как проворовавшийся кот, поглядывал из-под седых бровей на меня и Багрицкого. У меня сжалось сердце: все мои заботы пропали даром.

— Не дрейфь, Янкель,—сказал Эдуард, хлопая меня по плечу,—я забыл тебя предупредить, что у Шульца чудовищный аппетит. Он жрет как Гаргантюа. Ему надо с утра набить желудок десятью фунтами кондера с кониной, тогда он станет безопасен. Тонкой пищи он не поймет, и от нее ему нет никакой пользы. Все равно, что голодного льва кормить рябчиками в сметане. После такой еды лев самого повара с'ест.

Гаврила Иванович шуршал хлебной коркой по внутренней стенке глиняного кувшина, добывая остатки молока. Лицо его сделалось каменным, как будто разговор шел о другом человеке.

* * *

Через несколько дней жизнь начала входить в колею: в моей комнате были установлены две добавочные койки. С рассвета на плите весело урчал гигантский бак кондера для Гаврилы Ивановича, и проблема его питания на некоторое время потеряла свою остроту. Багрицкий работал секретарем газеты «Красный Николаев», которую я тогда редактировал, заменив ушедшего в отпуск поэта Яшу Городского.

Эдуард совершил несколько путешествий на заводы «Наваль» и «Рассуд». После этих экскурсий, по вечерам, моя комната превращалась в клуб, в который приходили молодые ребята читать свои стихи и рассказы.

Удивительное свойство было у Эдуарда: знакомство он заводил налету и с самыми разнообразными людьми, чтобы через несколько дней об'единить всех их в дружную компанию.

С одним он долго спорил о преимуществах египетских голубей над вертунами, с другими выяснял возможности разведения рыбок-скалярий в мелких и прохладных водах...

Но главное начиналось, когда приходили поэты. Охотники, рыболовы и птицеводы отступали на второй план.

Вечер заканчивал всегда Эдуард. Он терпеливо выслушивал чтение десятков стихов и рассказов и почти всегда внезапно начинал читать сам. Я никогда не забуду его замечательный еще в те годы голос, седеющий вихор на лбу и глаза, устремленные куда-то далеко, через головы онемевших слушателей. Он был необычайно скромен, Багрицкий, и очень неохотно читал стихи. Он ошеломлял своих слушателей стихами

Впереди толпы стоял высокий человек в бурке и в манчжурской папахе.

По вечерам моя комната превращалась в клуб.

Лермонтова и потрясающими строфами Киплинга, которого очень ценил и любил.

Когда закрывалась дверь за последними посетителями, Эдуард, вдруг засмеявшись, поворачивался к Шульцу:

— А ну-ка, Гаврила Иваныч, ударьте что-нибудь повеселее, похлеще!..

Гаврила Иванович медленно спускал ноги с кровати, брал гитару, стоявшую у изголовья, и начинал петь.

Когда мы засыпали, Шульц подымался с постели как лунатик. Спотыкаясь и цепляясь за мебель, он пробирался к этажерке, на которой стояли остатки ужина. Из мрака потом долго доносилось хрустение арбузных корок, которые он догрызал с хлебом.

Утром он заявлял с невинным видом, что в квартире, кажется, завелись крысы.

— Знаете, Гаврила Иванович,—сказал Багрицкий как-то вечером,—сегодня крысам непоздоровится. Мы с Бельским все остатки ужина отравили цианистым калием...

Гаврила Иванович промолчал. В эту ночь он спал спокойно.

* * *

В начале сентября Гаврила Иванович уехал в Одессу. Этому предшествовали небезынтересные обстоятельства.

По просьбе Эдуарда я устроил Шульца лектором по натуроведению в клуб металлистов.

— Если вам нужна литература,—сказал я ему,—напишите названия — я вам все достану.

— Пустяки,—сказал Гаврила Иванович,—я все это отлично знаю. Необходимые натурпособия я раздобуду сам.

Утром, после завтрака, он взвалил на плечи какое-то подобие рюкзака, взял палку и ушел по направлению к реке.

В этот день мы с Эдуардом очень задержались в редакции. Дело в том, что нам удалось снять на один вечер помещение кинотеатра, не получившего почему-то фильма из Одессы, и Багрицкий решил устроить там вечер поэзии. Пришлось наскоро печатать афиши, торговаться с кассиршей, билетерами, монтерами, рабочими сцены и завкино. Сам Эдуард сидел с ныне умершим журналистом Гришей Магри и спешно натаскивал его по поэзии.

— Скажи мне еще раз,—говорил Гриша,—только точно: какая разница между акмеистами и реалистами, чтобы я не перепутал?..

Магри должен был выступать докладчиком, а Эдуард — иллюстрировать его доклад стихами.

— Как ты можешь перепутать,—волновался Эдуард, — я ведь буду стоять сбоку, а Яшка будет председательствовать. В случае чего, он тебе подскажет. Если ты заговоришь об акмеистах, я прочту их стихи, или наоборот. Перепутать тут невозможно.

Вечер несмотря на широкую рекламу состоялся далеко не при переполненном зале. В первых рядах сидели друзья Багрицкого: птицеводы, рыболовы, охотники и поэты. К сентябрю их число достигло потрясающей цифры, и все они были контрамарочниками: Эдуард никому не мог отказать.

— Что ты делаешь? — сказал я, когда увидел раздачу этого безумного потока контрамарок. — Мы ж прогорим вдребезги.

— Не учи меня,—сказал Эдуард,—я знаю, что значит работа в маленьких городах. Нужно, чтобы в двери начала валить толпа, тогда другие будут брать билеты за деньги.

Толпа, валившая по контрамаркам, оправдала его расчеты, но тех, д р у г и х, было мало.

Вечер прошел блестяще, но когда мы подошли к кассе, она уже была атакована всем персоналом театра. За покрытием всех расходов выручка составила девять рублей...

Когда мы шли домой, нас догнал какой-то человек.

— Молодые люди,—сказал он,—я костюмер театра Денег я у вас не прошу. Я знаю, что у вас осталось девять рублей... Но я старый человек, и у меня семья. Я прошу одолжить три рубля.

Я вопросительно посмотрел на Эдуарда. Он вдруг рассмеялся гогочущим смехом и протянул костюмеру трехрублевку.

— Ну так шуба у Лиды,—сказал Багрицкий,—будет без бобрового воротника...

Дома мы застали Гаврилу Ивановича. Он сидел на кровати, на корточках, с головой, повязанной мокрым полотенцем.

— Что с вами?—спросил я.

— Лекция не понравилась, и меня прогнали, а все из-за нее,—сказал Гаврила Иванович, указывая на цаплю в углу, — я не успел ее выдрессировать.

В углу стояла живая цапля с подбитой ногой.

— На окне змеи,—продолжал Гаврила Иванович,— и два тарантула, но они все в специальных мешочках, так что вы не беспокойтесь...

— Какие змеи?—грозно спросил Эдуард.

— Пустяки: шесть ужей, две медянки и одна гадючка, совсем молоденькая. Она еще яда не вырабатывает.

Эта ночь была одна из самых страшных ночей в моей жизни: часа в два ночи закричала цапля. Спросонья мне показалось, что я сплю под тропиками, где-то на берегу реки Ориноко. Что-то холодное и скользкое обвивалось вокруг моей шеи. Чудовищным усилием воли я превозмог страх и повернул выключатель: на соседней кровати сидел Эдуард и держал дрожащими пальцами тарантула...

Разбуженный нами старик до рассвета собирал свои «натурпособия». Он все волновался, что нет гадюки. Наконец, он радостно вскрикнул и бросился к моей постели.

— Ах, подлая, куда залезла!—крикнул он.—И торжествующе вытащил из-под моей подушки змею солидного размера.

— Это та самая малютка,—сказал Эдуард,—я думаю, Гаврила Иванович, что у нее уже прорезались молочные зубки...

Делая невероятные телодвижения, Гаврила Иванович запихивал «гадючку» в какой-то мешок. Утром Багрицкий был серьезнее обычного.

— Гаврила Иванович,—сказал он,—берите свой сад Гагенбека—и едем на пристань. Шесть рублей сорок пять копеек как раз хватит на билет второго класса.

— Понимаешь,—сказал Эдуард, вернувшись из гавани,—обо всем я тебя предупредил, когда мы приехали, я забыл только сказать тебе, что он немного того...

* * *

Круг знакомых Эдуарда все увеличивался. В моей квартире его гости уже не умещались, и мы начали устраивать литературные вечера в редакции. На дом ходили только немногие избранные. Любимцем Эдуарда был молодой пекарь Ванька Гусев, писавший стихи и прозу. Это был девятнадцатилетний красавец с прекрасной шевелюрой цвета льна, составлявшей предмет вечной зависти Багрицкого.

— Продай ее мне, Ванька,—говорил он,—она как раз подходит к моей фигуре.

— А ты мне лучше свою фигуру отдай,—говорил Гусев,—она как раз подойдет к моим волосам...

Ванька был необычайно способный и впечатлительный малый.

Парень начал писать неплохие стихи и прозу. Он был одним из немногих, имевших право приходить на квартиру. Кроме него ходил токарь с «Наваля» Поливанов, проработавший на заводе лет сорок. Он написал несколько огромных тетрадей воспоминаний о революционной работе в Николаеве при царизме. Эдуард целые ночи напролет просиживал над его рукописями. Он их читал и правил, а потом уплатил машинистке из своих скудных средств за перепечатку.

Стихи же Поливанова Эдуарду не нравились.

— Пиши прозой, Николай Софронович, — говорил Багрицкий,—в шестьдесят три года все поэты становятся прозаиками.

С Поливановым Эдуарда связывала еще общая страсть к охоте. Иногда, вскинув на плечи старинные одностволки, они уходили куда-то далеко, на Буг, в камыши. В такие дни они возвращались подвечер злые и голодные и долго ругались.

— Знаток,—говорил Эдуард,—знает места, где утки. Да вы, Николай Софронович, даже на базаре за деньги домашней утки не найдете, не то что дикой!..

Николай Софронович угрюмо сопел и крутил усищи, но молчал, признавая свой грех.

К середине сентября Эдуарда уже знали на всех предприятиях Николаева.

Сюда часто приезжали поэты, но ни один из них никогда не был так близок рабочей аудитории, как Багрицкий. Его считали своим. Простая одежда, брезентовые обмотки, манера говорить и обращаться с людьми создавали необычайно интимную обстановку на его выступлениях в рабочих клубах.

Десятки людей всегда провожали его домой и потом долго гуторили по ночам под окнами квартиры.

На письменном столе нашей комнаты всегда лежали груды рукописей рабочих-авторов. Багрицкий все внимательно читал и накладывал короткие и точные резолюции.

В середине сентября Эдуард начал чаще обычного писать письма домой. Когда пошли осенние дожди, он совсем затосковал по семье.

— Ты понимаешь,—говорил он по нескольку раз в день,—Лида ведь совсем беспомощный человек. Севку надо одеть, обуть—я поеду домой. Кроме того в сентябре можно наловить хорошую «колюшку». Если ее ловить в сентябре, она выживет и отнерестуется...

Однажды, туманным утром, в конце сентября, Эдуард надел свою бурку и папаху—и мы поехали на пристань. Провожать пришли Гусев и Поливанов. Было чертовски грустно. Поливанов долго вертел в руках какой-то сверток, потом ткнул его Эдуарду.

— Что это, рассказ? — спросил Багрицкий.

— Пирожки,—сказал сконфуженный Поливанов,— жена напекла на дорогу. Может, кушать захочешь...

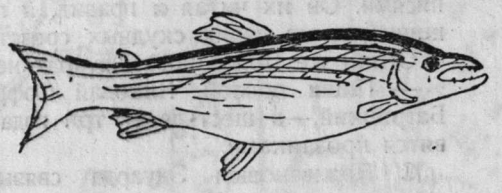
— От чудило,—сказал Багрицкий, но быстро повернул голову второну, и мне показалось, что в его серых глазах блеснули слезы.

Когда я вернулся домой, наша комната показалась мне нежилой. На столе лежали чьи-то стихи, которые Багрицкий забыл вернуть автору. В верхнем левом краю на них была краткая резолюция: «Семидольный паузник—трудно, гекзаметр—хуже. Пиши ямбом, босяк!»

Я долго потом не мог привыкнуть к одиночеству. Просыпаясь по ночам, я всматривался в темноту—и мне казалось, что я сейчас увижу огонек его цыгарки из абиссинской травы и услышу ее легкое потрескивание...

И, может быть, из-за Багрицкого я до сих пор горячо люблю Николаев, в котором протекли лучшие дни нашей дружбы, дни юности и весны. Когда я думаю о Николаеве, мне кажется, что я еще юноша, а Эдуард Багрицкий жив.

КАК ЛОВЯТ РЫБУ



А. Некрасов

Рис. Б. Берендюфа

Однажды на Амуре я видел медведя. Он сидел на камне, у реки, и передней лапой со всего размаху шлепал по воде. Я сначала не понял, что он делает, а потом вижу: из воды вылетел серебряный лосось и забился на берегу. Медведь слез с камня, подбежал к лососю, отгрыз ему голову, а самого лосося закопал в песок. Я выстрелил. Прогнал медведя, сам попробовал так ловить и поймал рыбину.

Это, пожалуй, самый простой способ лова. Но так ловить можно только во время рунного хода, когда морская рыба массой идет в реки метать икру.

Там, где мало рыбы, ловят по-другому. Некоторые способы ловли очень интересны, вроде спорта. Вот, например, делают длинную удочку, а на леске вместо крючка вешают волосяную петлю. В ясный, солнечный день возьмешь такую удочку, идешь не спеша по берегу и глаз не спускаешь с воды. Смотришь: где-нибудь в тени щука. Лежит в воде неподвижно, точно палка. Тогда петлю в воду и тихонько ведешь ее так, чтобы прошли щучьи жабры. Если удалось, не спугнул, тогда тащишь — и щука на берегу. Иной раз здоровенная попадется, но все-таки это не лов, а забава.

Рыбаки рыбных промыслов ловят неводами. Что такое невод и как им ловят, все знают.

На севере, в Полярном море, есть рыба — треска. Она живет в глубине, метров на 20, на 40, а то и глубже. Ее неводом не достанешь, а рыба ценная.

Раньше ее ловили на поддев и на яруса. Садится человек в лодку, спускает в воду веревку с крючком и дергает. Подергает, подергает—глядишь, зацепил за брюхо, за спину, за голову, за что придется. И порядочно налавливают... А яруса — это те же переметы, длинные веревки с крючками, только переметы маленькие, а яруса бывают больше километра.

Сейчас придумали особый невод для трески — тралл. Это огромный веревочный кулек. Узкий конец этого кулька завязан узлом, а на широком, открытом конце привязаны две тяжелые, окованные железом доски, а к доскам — стальные канаты. Все это бросают в море, а концы канатов закрепляют на специальном пароходе - тральщике. Тральщик идет, тянет тралл. Доски от сопротивления воды расходятся в стороны и растягивают кулек так, что он сгребает со дна все, что попадется, а больше всего, конечно, рыбы. Тралловый лов очень выгодный, и сейчас у нас на севере работают сотни тральщиков. Но и тралл не везде хорош.

На Дальнем Востоке есть рыбка иваси. Огромные стаи иваси проходят каждый год вдоль наших берегов. Иваси никогда не уходит глубоко в воду и никогда не подходит близко к берегу. Очень долго наши рыбаки даже и не знали, что есть такая рыба, а теперь каждый год ловят тысячи тонн иваси. Как же ее ловят? А вот как. Делают жаберную сеть — это особая сеть вроде невода, только сделана из тонких ниток, а дырочки в сетке так подобраны, что иваси может просунуть голову, а брюшко — не может. Распустят такую сетку в море. Иваси плывет, натыкается и застревает: вперед плыть брюшко не пускает, назад — жабры.

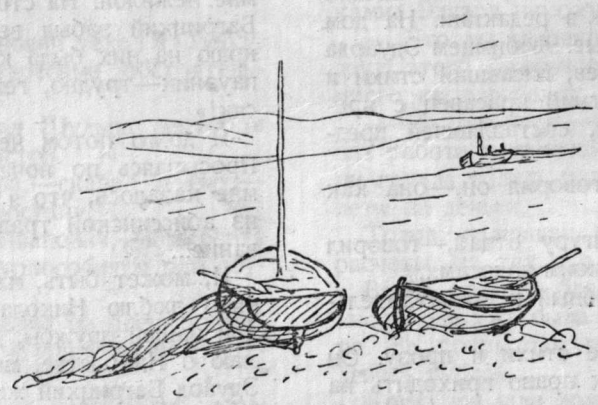
И сетью, и траллом, и неводом до сих пор вылавливают только малую часть того количества рыбы, которое есть в наших морях и океанах. Ученые, инженеры и сами рыбаки придумывают все новые и новые способы, чтобы в конце концов научиться ловить столько рыбы, сколько надо, или столько, сколько есть в том месте, где ее ловят.

В этом году придумали один такой способ. Когда селедка зашла в залив, взяли и загородили залив огромной железной сеткой. И теперь селедка не может оттуда выйти. В заливе ее всю можно выловить.

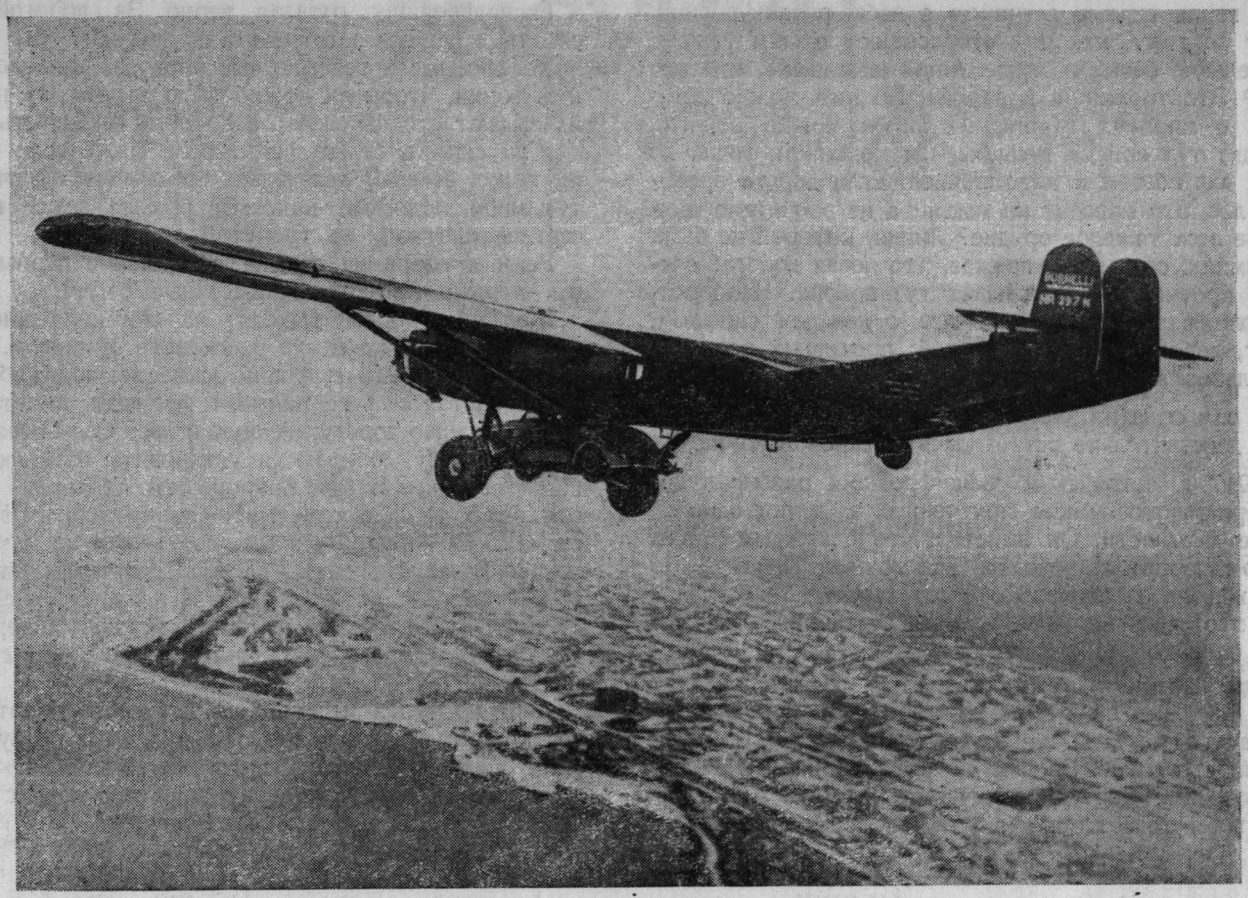
Есть и еще один способ — это электролов. Открыли этот способ случайно. В Америке одна электростанция часто останавливалась из-за рыбы: набьется рыба в турбины и так забьет лопасти, что не провернешь. Приходилось разбирать турбину и прочищать. И ничем не могли загородиться от этих рыбешек.

Как-то в воду упал провод. Ток не успели сразу выключить. И вот один инженер заметил, что рыбы от провода шарахнулись во все стороны как от щуки.

Инженер стал исследовать, искать причину, почему шарахнулась рыба, и заметил, что если в воду пустить электрический ток, то рыба не только испугается, но иногда может даже и уснуть. Во всем мире стали делать такие же опыты. И теперь уже научились и пугать, и глушить, и даже убивать рыбу электричеством. Сейчас в Мурманске, рядом с заливом, загороженным железной сеткой, другой залив загородили электрической загородкой. И из этого залива рыба тоже не может выйти.



Когда хорошо изучат этот способ, тогда, может быть, и никакие пароходы не понадобятся и никакие невода: прямо проложат кабели в море и, когда надо, включат ток, а рыба сама поплывет прямо на консервный завод или на холодильник.



Если вы вглядитесь хорошенько, вы увидите под самолетом автомобиль. Снимок сделан в Америке.

ЧТО ВИДНО СВЕРХУ

Л. Савельев

«Самое важное для летчика-наблюдателя: искусство правильно видеть. Одних природных способностей для этого недостаточно. Нужна еще тщательная подготовка и постоянная практика».

Так говорится в американской военной инструкции.

Что же это за искусство—видеть? Разве недостаточно иметь глаза, чтобы правильно видеть?

В 1916 г. германский летчик отметил в своем донесении, что он видел очень много железнодорожных вагонов. Это было важное известие: очевидно, французы подготовляли наступление. Что же на поверку оказалось? Это были не вагоны, а всего-навсего соломенные настилы на столбах: на этих настилах французские крестьяне сушили на солнце лук.

Можно ли винить в этой ошибке глаза летчика? Нет. И вагоны и соломенные настилы выглядят сверху одинаково: маленькие светлые пятнышки, вроде тире. Однако если бы летчик был опытен, он заметил бы странное расположение этих тире, обратил бы внимание, что «вагонов» так много, а паровозов почему-то нет. Словом, учтя разные мелкие признаки, он избежал бы ошибки. Но для этого недостаточно одних глаз: нужна еще сообразительность и тренировка.

Мы привыкли смотреть на все вещи всегда сбоку или снизу. А летчик глядит сверху. Поэтому для него все принимает совсем иной, необычный вид.

Узнали бы вы себя на фотографии? Конечно, узнали бы, если фотография снята, как говорят, «ан фас». А если бы вас сфотографировали с затылка? Тогда, пожалуй, придется призадуматься: вы это или не вы. Но уже наверняка вы бы не узнали себя, если бы вас сняли с темени, таким, каким видит вас муха с потолка... А летчик, он ведь смотрит на все вещи не с потолка, а с неба?

Летчику нужно научиться воздушному зрению—«аэрозрению». Иначе он ничего не поймет, все равно глядит ли он глазами на землю или рассматривает сделанный с самолета снимок, аэрофотоснимок.

Пробовали ли вы когда-нибудь разбирать шифрованное письмо, в котором каждая буква заменена каким-нибудь особым знаком? Это довольно трудное занятие, требующее сноровки. Аэрофотоснимок—это как бы зашифрованный снимок. Человек, который его разбирает, так и называется расшифровщик.

Первое, чему должен научиться воздушный расшифровщик, это разгадыванию теней. Мы редко обращаем внимание на тени. Ведь мы узнаем вещи с первого взгляда по их виду, зачем же нам еще смотреть на тени.

Но для расшифровщика тень важнее самой вещи. Дерево и автомобиль выглядят, если смотреть с неба, почти одинаково: черными пятнышками. А по теням их легко узнать: тени выдают их очертания.

«Если бы не было теней,—пишет специалист по расшифровке аэроснимков, — летчик не мог бы отличить орудийного окопа от стога сена; он бы сомневался до тех пор, пока ему не сообщили бы, что этот стог сена несколько раз стрелял».

Все вещи, снятые летчиком с неба, расшифровщик узнает по тому, как они отбрасывают свет и тень.

Тоненькие белые и серые линии на снимке, что это такое? Это тропинки и дороги. По ним можно догадаться о многом. По ширине линии можно решить, проходят тут войска гуськом или колонной, годна ли дорога для обозов и автомобилей. Если дорога приводит в лес, это наводит на мысль: а не запрятано ли в глубине леса тяжелое орудие? Линия, которой не было на снимках, сделанных прежде, это новая дорога: очевидно, противник накапливает тут войска. Наоборот, если линия выходит все темнее с каждым снимком, значит, дорога зарастает травой: противник перестал ею пользоваться, обстреливать ее не стоит.

Вот вам одна из задач расшифровщика, задача, которая действительно встретилась в мировой войне.

В 1917 г. английский расшифровщик разбирал целую серию фотоснимков, полученных за день с одной и той же местности. Он заметил, что с каждым новым снимком дорога становилась все темнее. Почему? Не могла же она за несколько часов зарасти травой. Дождя в этот день не было, условия освещения были все время одинаковыми.

Тогда расшифровщику пришло в голову: гладкая дорога выходит на снимке светлой потому, что она отражает свет; если же закидать чем-нибудь дорогу, она выйдет темнее. Но чем ее могли закидать? Наверное, камнями. Дорогу собираются уложить булыжником, чтобы подвезти по ней тяжелую артиллерию.

Расшифровщик оттадал верно. За дорогой стали следить и успели расстрелять орудия на пути.

Телефонные и телеграфные провода, конечно, слишком тонки, чтобы их можно было заметить с неба. Но их выдают столбы: ямки, в которые они врыты, выходят на снимке белым пунктиром. Даже если провода идут под землей, все равно на снимке отпечатается туманной полоской канавка: рыхлая земля выходит светлее плотной, не тронутой лопатой.

Реки и озера на снимке совершенно черные. Окопы—черные зигзаги, окаймленные белым.

Железные дороги выходят на снимке темнее шоссейных. Они тоже могут рассказать о многом.

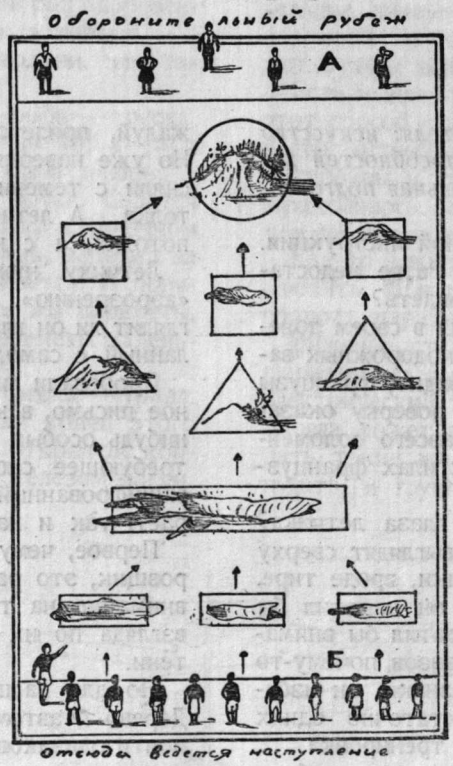
В феврале 1918 г. французские летчики-наблюдатели, пролетая над германским фронтом, заметили новую железную дорогу, идущую к лесу Сен-Гобен. «Очевидно, в лесу собираются установить батарею»,—решили летчики. И они попробовали пролететь над лесом. Но тут, на высоте трех километров, их встретил германский барраж, охрана, состоящая из самолетов-истребителей. Поднялись на высоту пяти километров—второй барраж. Летчики вернулись с донесением: в лесу подготовляется что-то очень важное (барраж обходится так дорого, что его не стали бы применять по пустякам).

А ровно через месяц на Париж стали падать неизвестно откуда германские снаряды. Тогда сразу вспомнили о лесе Сен-Гобен. И, действительно, звукоуловители скоро обнаружили, что из этого леса стреляют германские сверхдальнобойные орудия.

ПЕРЕБЕЖКА

Массовая игра на площадке

Вот чертеж, на котором указано, как надо распланировать площадку для игры в «перебежку».



В отряде А— пять человек. Он защищает оборонительный рубеж.

Отряд Б наступает. Все знают, что под огнем противника наступать нужно с помощью перебежки. В наступающем отряде 11 человек. На пути продвижения отряда есть естественные укрытия: ложбины, канавки, холмики, бугорки. На чертеже они изображены четырехугольниками, треугольниками, квадратами и кругом. Круг ближе всего к противнику. К нему отряд Б стягивает свои силы для атаки.

От прикрытия к прикрытию перебегают бойцы, направляясь к кругу. Перебежка—самый ответственный момент. Тут-то и может поразить пуля. Добежал до прикрытий — притаись и жди удобного момента, для того чтобы перебежать к следующему прикрытию. Если добрался до одного из квадратов, — получаешь очко в награду, добрался до круга — еще два очка.

Если все 11 человек доберутся до круга, то они будут иметь 33 очка. Но получить эти 33 очка почти невозможно. Противник метко стреляет и за каждого убитого получает по 3 очка.

Теперь ясно: если наступающий отряд доведет до круга 6 человек, он выиграет, потому что будет иметь 18 очков, в то время как его противник за 5 «убитых» получит только 15 очков. Если же до круга доберется меньше 6 — выигрывает отряд, ведущий оборону.

А чем же стреляют по наступающему противнику?

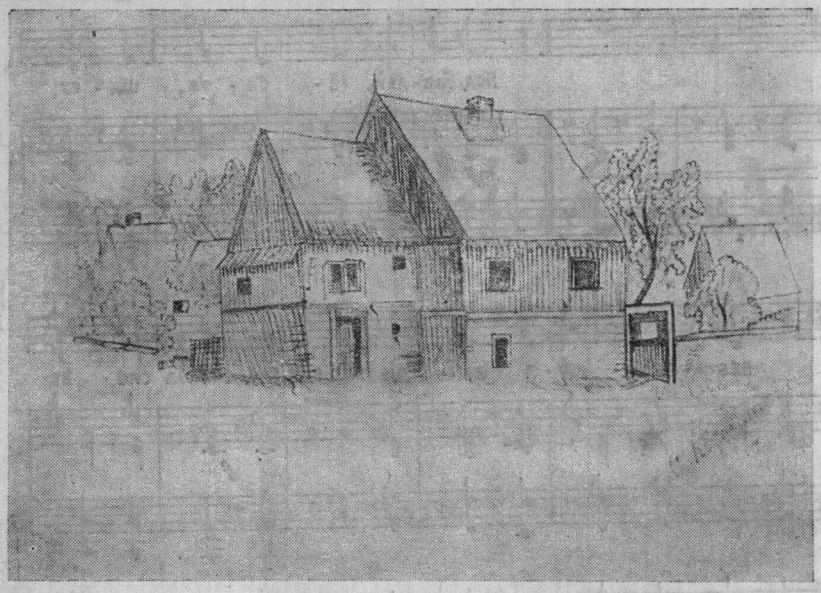
Мячами простыми или теннисными. Можно обойтись и самодельными, тряпичными, если нет резиновых.

Перебежка и стрельба ведутся по свистку судьи. «Убитые» выходят из игры. После первой перебежки мячи возвращаются обратно, начинается вторая перебежка, третья и т. д. Следовательно, во время перебежки каждый боец обороняющегося отряда может сделать только один выстрел.

Длина площадки—50—75 шагов. От круга до оборонительного рубежа—8—10 шагов.

За каждым прикрытием может спрятаться только один человек. Попадания в бойцов, находящихся за прикрытием, в расчет не принимаются. Действительны лишь попадания вне прикрытий. За этим следит судья.

РИСУНКИ СЕРЕЖИ КОСТРИКОВА



Найдите в правом нижнем углу рисунка подпись. Вы увидите побледневшие, стертые временем буквы. Это подпись 14-летнего Сережи Костирикова.

Вы, конечно, знаете, что Сережа Костриков и Сергей Миронович Киров — один и тот же человек. Наши постоянные читатели хорошо знают его биографию. Мы посвятили ей целый номер журнала в начале этого года.

Недавно нам сообщили, что найдены детские рисунки Сергея Мироновича. Они хранятся в Институте Ленина. Мы сфотографировали их.

Все мы знаем, каким большим человеком был Сергей Миронович Киров, каким прекрасным он был организатором, хозяйственником, военным. Из рассказов его друзей мы узнали, что в юности он был изобретательным механиком.

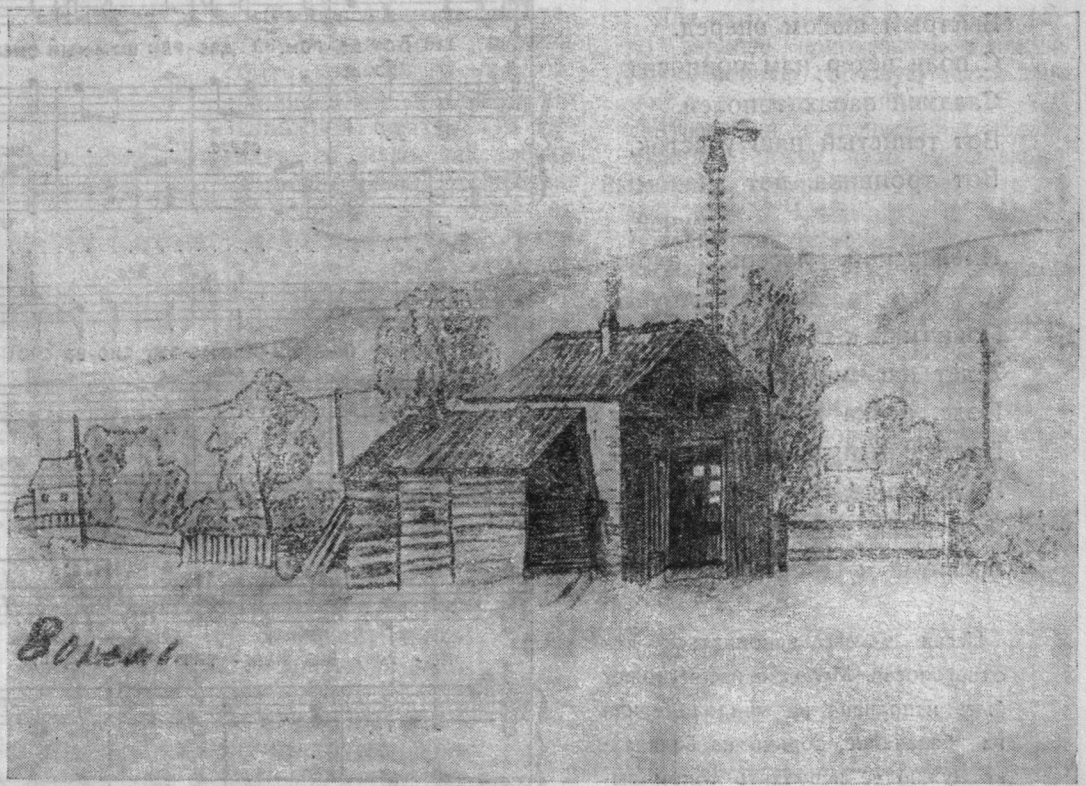
Эти рисунки, сделанные с натуры, показывают нам, что у Сергея Мироновича был глаз художника и большие способности к рисованию.

У 14-летних ребят редко встречаются такие законченные, зрелые рисунки.

Из него не вышел инженер, как не вышел и художник.

«Я буду тем, чем буду и что сейчас нужнее всего», — так ответил он своим товарищам, которые спрашивали, кем он собирается стать после окончания школы.

Он нашел для себя другой путь, самый трудный и самый нужный в то тяжелое время, — путь профессионального революционера. Это путь, по которому шли Ленин и Сталин, путь, который привел к победе революции.



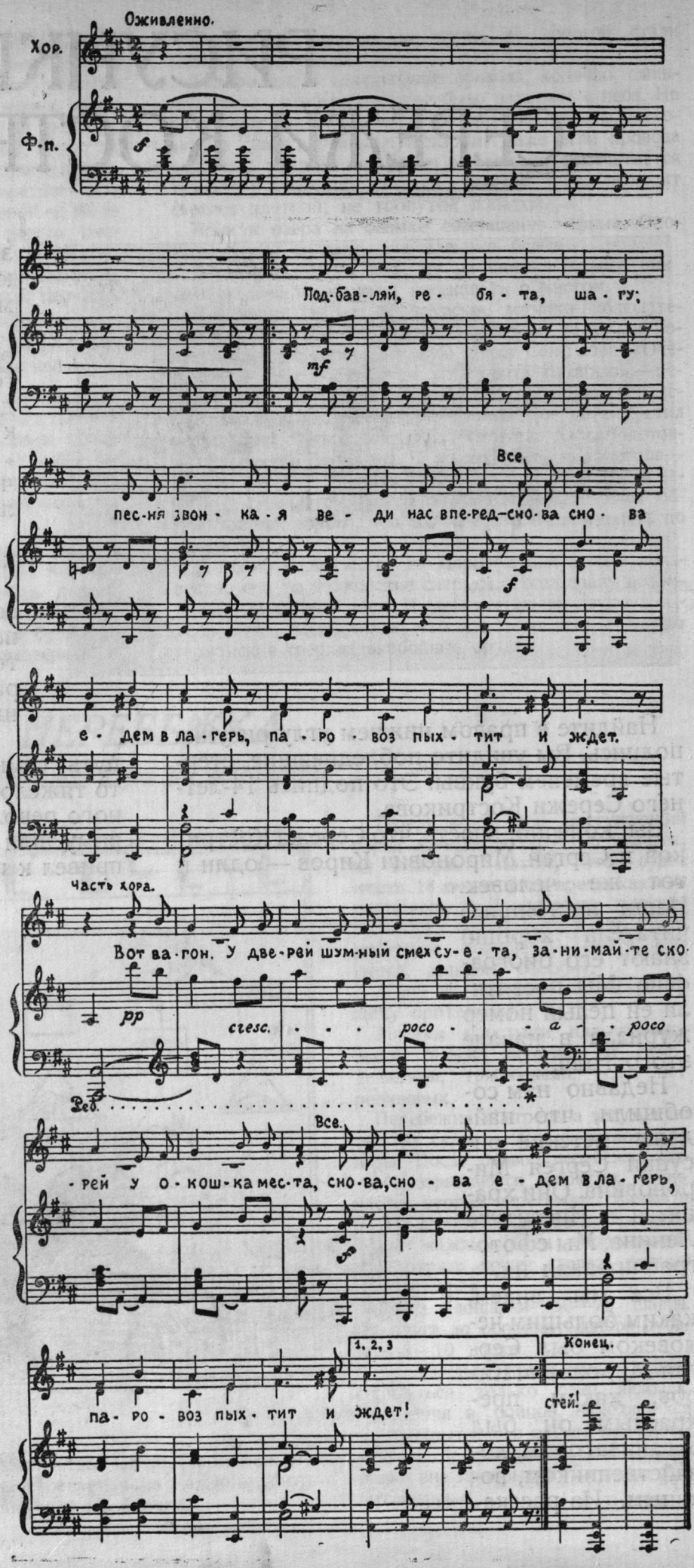
ВСТРЕЧА С ЛАГЕРЕМ

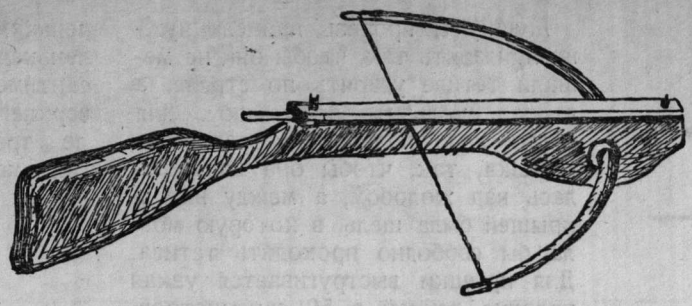
ПИОНЕРСКАЯ ПЕСНЯ

Музыка Юрия Богословского
Слова Нины Френкель

Дан сигнал: ну, поезд, трогай.
Пыльный город прошумел и исчез.
Смотрим весело дорогой,
Как бежит навстречу лес.
Пронеслись зеленя,
Промелькнули кусты,
Вдоль откоса, дразня,
Закачались цветы.
Смотрим весело дорогой,
Как шумит навстречу лес!
Замедляют бег колеса,
Из вагонов душных выйдем скорей.
С поля ветер нам приносит
Сладкий запах тополей.
Снова синь, снова ширь,
Снова солнце печет,
Полной грудью дыши,
Быстрым шагом вперед.
С поля ветер нам приносит
Сладкий запах тополей.
Вот тенистый наш участок,
Вот тропинка, вот знакомый ручей,
Пионерский лагерь, здравствуй,
Принимай к себе гостей.
Ждет нас много чудес:
Поле, речка и лес,
Полотняный шатер,
На полянке костер.
Пионерский лагерь, здравствуй,
Принимай к себе гостей!

Песня может исполняться как одноголосая. Мелодия песни может быть исполнена на мандолине или на балалайке, только на балалайке нужно ее исполнять тоном выше.



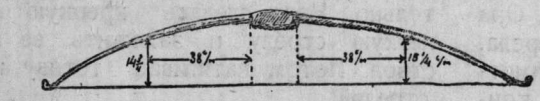


ЛУК И САМОСТРЕЛ

Как их сделать самому

Все ребята хотят уметь стрелять, каждый пионер мечтает быть ворошиловским стрелком. Но не всегда удается ребятам организовать стрелковые кружки: то винтовки нет, то патронов не достать, то руководителя не найдешь.

Как же быть?



Очень просто. Можно и без винтовки развить зоркость и меткость глаза и научиться без промаху попадать в цель. Для этого нужно совсем не сложное орудие, которое каждый из ребят не раз сам делал для игры в индейцев,—это лук.

Только хороший лук для стрельбы в цель сделать труднее чем лук для игры.

Прежде всего надо выбрать хорошее, прямое, несучковатое дерево. Лучше всего орешник, кедр, белый дуб, ясень или акацию.

Дерево для лука, например орешник, надо распилить таким образом, чтобы получился брусок в 2 сантиметра шириной и в 2 сантиметра толщиной. Длина такого бруска должна быть 90 сантиметров.

Потом большим рубанком надо гладко выстругать одну сторону бруска и отметить карандашом центр бруска по поперечной линии. Затем отметить поперечные линии на 3 сантиметра в обе стороны от центра и обстругать брусок таким образом, чтобы получился брусок в центре шириной в 2 сантиметра и к концам — в 1 сантиметр. Затем маленьким рубанком надо округлить этот брусок.

На расстоянии 3 см от концов бруска надо сделать 2 зарубки для тетивы.

Теперь как сделать тетиву? Ведь она должна быть крепкой и упругой. Лучше всего ее сделать из сапожной дратвы. И делать ее надо так: вбить 2 гвоздика на расстоянии 85 сантиметров один от другого и натянуть между ними дратву в 12 нитей, освободить один конец, натереть воском и свить в одну крепкую бичевку, свивая от себя. Потом надо приготовить таким же способом еще 2 бичевки и свить их все вместе, но уже в противоположном направлении, т. е. к себе.

Тетива готова. Чтобы она была крепче, ее надо еще натереть воском.

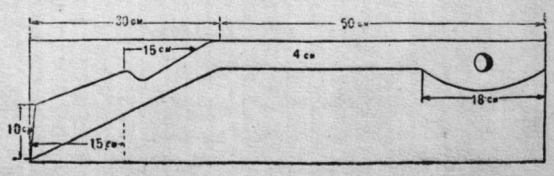
Теперь надо сделать петли на каждом конце тетивы, закрепить их бичевкой, свитой из 8 нитей дратвы, и вдеть один конец лука в одну петлю, а другую петлю — в зарубку на другом конце. Теперь надо попробовать лук. Если он слишком туг, сделайте его чуть тоньше. Когда лук будет достаточно гибким, поскоблите его стеклом, отшлифуйте наждачной бумагой, потом обмотайте середину лука на 7 сантиметров в обе стороны от центра бичевкой, покройте лаком — лук готов.

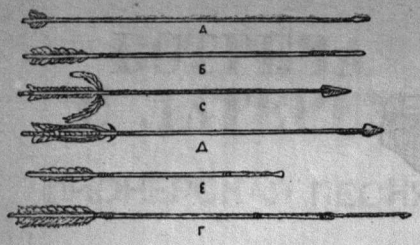
Это простой лук. Стрелять из него надо одной рукой. А можно сделать лук-самострел. В самостреле лук приделан к ложу. Он натягивается двумя руками. Поэтому лук для самострела надо сделать очень тугим. Чем туже лук, тем дальше летит стрела. Лук-самострел лучше всего делать из молодого дуба или березы. Приклад — из сосны.

Для изготовления самострела надо заранее приготовить гладкую прямослойную сосновую доску длиной в 1 метр, шириной в 15—20 сантиметров и толщиной в 2 сантиметра. Доску надо хорошенько очистить шкуркой и начертить на ней ложе. Чтобы чертеж вышел правильным, надо начинать его с верхнего края доски, как показано на чертеже внизу.

По чертежу осторожно вырубается, выпиливается или вырезается ложе для самострела.

Самая трудная часть работы — выдалбливание жолоба. Сгладив стеклянной шкуркой верхний край ложа, чтобы он стал чистым и гладким, надо по линейке провести карандашом 2 прямые линии вдоль всей верхней части ложа на рас-





Разные стрелы.

стоянии 1 сантиметра одну от другой.

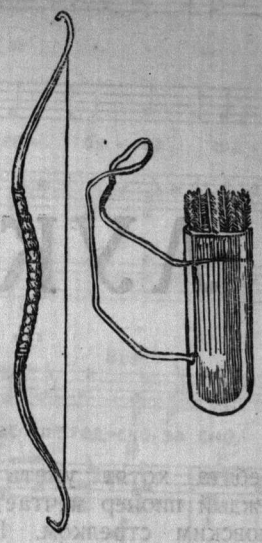
Первая линия пройдет на ½ сантиметра от края, затем будет промежуток в 1 сантиметр, т. е. будущий жолоб, и затем вторая линия, которая также пройдет на ½ сантиметра, отступя от другого края. Наметив жолоб, сделайте вдоль обеих линий глубокие прорезы не меньше чем в ½ сантиметра.

Потом выдолбите жолоб глубиной в 1 сантиметр. Прочистите жолоб шкуркой и отполируйте палочкой из дуба или березы, чтобы он стал совершенно глядким. Затем сделайте в упоре ложа коловоротом или долотом дыру в 2½ сантиметра в поперечнике. В эту дыру должен входить заготовленный для самострела лук. Курок для спускания тетивы выстругивается из березовой дощечки.

Когда курок будет готов, у конца жолоба сделайте зарубки глубиной в ½ сантиметра для закладывания в них натянутой тетивы, и работа над самострелом закончена, остается только приладить прицел и мушку.

Мушку и прорезь прицела нужно приладить так, чтобы они не мешали тетиве ударять по стреле, а стреле скользить по жолобу. Для этого над жолобом устраивается крышка, так, чтобы она возвышалась над жолобом, а между ним и крышей была щель, в которую могла бы свободно проходить тетива. Для крышки выстругивается узкая палочка длиной в 50 сантиметров, шириной в 2 сантиметра и толщиной в ½ сантиметра, затем вырезаются 4 маленьких кусочка дерева длиной в ¾ сантиметра, шириной в ½ сантиметра и высотой в ¾ сантиметра, которые будут служить подкладками для планки крышки. Их надо укрепить на краях спереди и сзади жолоба, и на них набивается крышка.

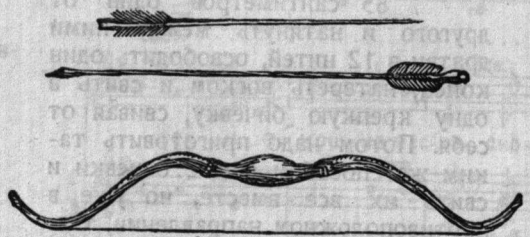
Тогда у самострела получится дуло, похожее на дуло настоящего ружья. Но прежде чем прикрепить планочку, на ней надо устроить мушку и прицел. Для устройства мушки, отступя на 1 сантиметр от того конца планки, который придется над концом самострела, как раз по средине, снизу вверх надо вбить насквозь гвоздик величиной в 1 сантиметр, а затем острие спилить напильником. Это мушка. Она будет торчать на конце самострела, как раз посредине на ½ сантиметра вверх. На противоположном конце планки, в начале жолоба, около курка, над самой срединой, отступя на 3 сантиметра от другого конца жолоба, посредине планки прикрепляется прицел двумя маленькими гвоздиками. Прицел—маленькая квадратная дощечка в ½ сантиметра, у которой на средине верхнего края сделана прорезь ввиде треугольника глубиной в ¼ сантиметра.



Старинный лук и колчан со стрелами.

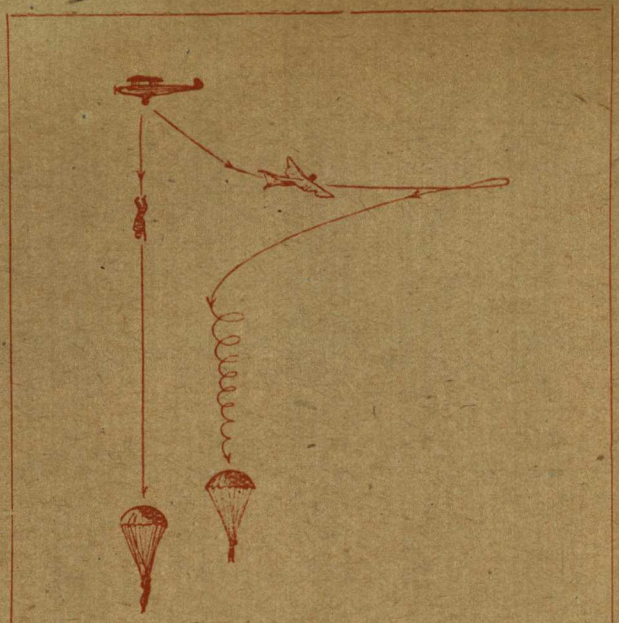
Теперь самострел готов окончательно. Надо сделать крепкую и легкую стрелу и заложить ее в ствол. Потом натягивай тетиву и стреляй!

Только зорче целься и метче в цель попадай! А мы в одном из ближайших номеров расскажем, как организовать соревнование по стрельбе из лука.



Древний русский лук и стрелы.

Продумав конструкцию крыльев со Шмидтом, Смирнов решил построить их дома. Смирнов был в отпуску. Девятнадцать дней, а часто и ночей у себя на квартире он строил первые советские крылья. Когда работа была окончена, вместе со Шмидтом он принес их на аэродром. Здесь они испытали крылья под винтом самолета, стоявшего на земле. В струе колючего воздуха крылья не мешали вылезать из кабины, хорошо открывались и закрывались. Все было в порядке, и Шмидт получил разрешение произвести пробный прыжок.



Слева—обычный прыжок с парашютом. Справа-прыжок на крыльях.

С нетерпением ждал Георгий Александрович хорошего летного дня. Он был уверен в успехе. Первые советские крылья были по конструкции лучше американских, а прыжок на них должен был быть третьим в мире и первым в СССР. В середине апреля текущего года стояла плохая погода. Наконец, 17 апреля, среди застилавших небо облаков стали появляться голубые окна. Решили прыгать. В 4 часа 20 минут на учебном самолете «У-2» пилот Афанасьев повез Шмидта под облака. Летали над Химками, вдоль Октябрьской железной дороги.

Самолет медленно набирал высоту. Совсем над головой плыли белые и серые клочья облаков. Наконец, прибор показал высоту 1500 метров над землей. Выше подниматься было нельзя: облака скрывали землю в тумане.

Шмидт довольно легко выбрался из самолета, стал на крыло и взялся за ручки на концах своих заплечных крылышек. Георгий Александрович огляделся и оттолкнулся от самолета. Скорость падения быстро росла, в ушах свистел ветер.

«Сначала меня накренило в стороны, — рассказывал он,—потом снова выпрямило, рвануло в бок, и, наконец, я стал падать правильно вниз. Решив испытать действие моих рулей, я подобрал ноги, вывернул элероны (кончики крыльев) и хотел сделать мертвую петлю, но, очевидно, скорость была недостаточна: вышло только полпетли. Я повернулся на спину и полетел в обратном направлении».

Пролетев несколько секунд, Шмидт начал скользить на одно крыло и входить в штопор. В этот момент он освободил руку и открыл парашют. Белый купол развернулся над ним, когда до земли оставалось около 600 метров. До раскрытия парашюта Шмидт снижался на крыльях со скоростью 25 метров в секунду. То расстояние до земли, которое он пролетел бы без крыльев в затяжном прыжке, потребовало бы 18 секунд, крылья же продержали Шмидта в 2½ раза дольше—45 секунд.

Шмидт получил от прыжка огромное удовлетворение.

«Нельзя передать того захватывающего чувства, — говорил он,—которое овладевает человеком, могущим хоть немного управлять своим свободным полетом».

«Идеи носятся в воздухе»,—говорят изобретатели. Газетные заметки об опытах американца Клэм Сона взбудоражили не одного Шмидта и Смирнова. Ростовский шофер Левский с помощью инженера Гантмана тоже построил свои крылья. На ростовском аэродроме инструктор парашютного спорта Хорохонов летал на них и удачно. Это был второй в СССР и четвертый в мире полет на крыльях. Такие же крылья построили в испытательном институте под руководством инженера Дьяконова, в Государственном центральном институте физической культуры под руководством парашютиста Малиновского и на одном из заводов под руководством тов. Синькова. А Шмидт и Смирнов строят свои новые крылья. Они учли опыт первого прыжка и ввели в конструкцию целый ряд изменений.

Скоро будут произведены испытательные полеты на всех построенных крыльях. Накопленный опыт даст возможность построить такие крылья, на которых можно будет управлять своим снижением и приземляться в любом месте.

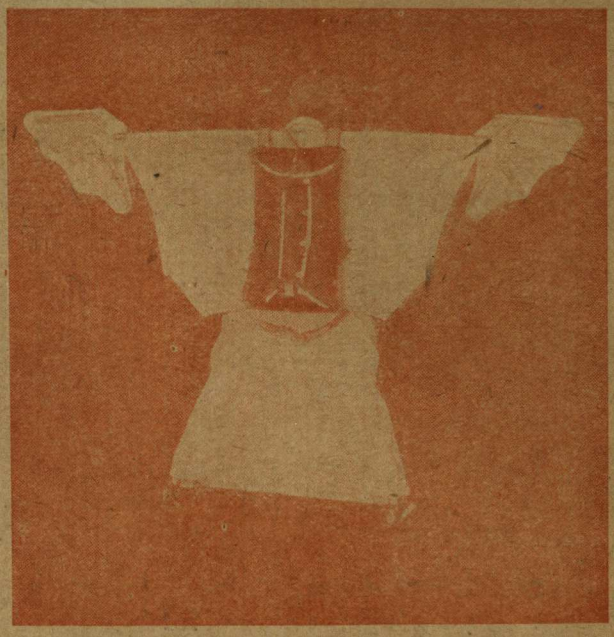
Смелые советские парашютисты и летчики скоро будут летать на крыльях как птицы.

□ □ □

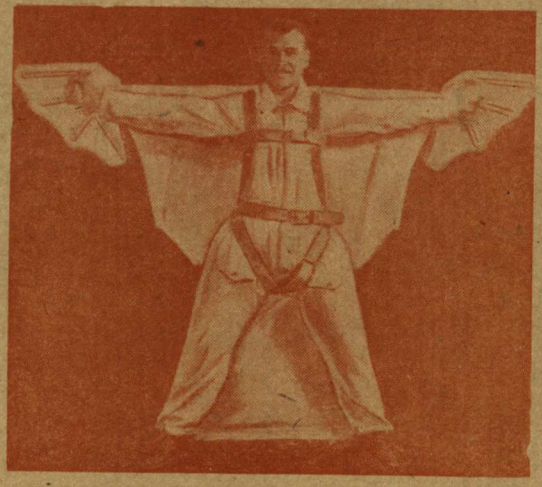
Цена 30 коп.

М4265

Крылья конструкции техника Экспериментального института Наркомтяжпрома тов. СМИРНОВА.



Те же крылья в развернутом виде. Обратите внимание на парашют, укрепленный за плечами прыгуна.



Конструктор Н. С. СМИРНОВ со своими крыльями.

Ц. 1935 г.
Акт № 90
Вкладн. л.

Отв. редактор Б. ИВАНТЕР Худ. редактор М. АСКИНАЗИ Издатель: Издательство ЦК ВКП (б) „Правда“
Сдано в набор 7/V—35 г., подписано к печати 11/VI—35 г. Изд. № 567. Формат 62×94 см. 1 1/2 б. л. 135 009 п. зн. в бум. л.
Уполномоченный Главлита № Б—4364 Типография газеты „Правда“ им. Сталина, Москва, ул. „Правды“, 8 Зак. № 1058. Тираж 50000